

*Первая мировая война,
революции 1917 года,
Гражданская война,
первые годы Советской власти,
увиденные мальчиком
в родном селе
во глубине России*



Алексей Алексеевич
Булгаков
(1910–1993)

*Своими
глазами*

ВОСПОМИНАНИЯ

Москва
ИД «Покровский сад»
2021 г.

УДК 82-821
ББК 84(2Рос=Рус)6
Б90

*Допущено к распространению
Издательским советом Русской Православной Церкви
ИС Р21-111-0266*

Булгаков А. А.

Б90 Своими глазами: Воспоминания / А. А. Булгаков. — М.: ИД «Покровский сад», 2021. — 240 с. , ил.

Доктор технических наук А. А. Булгаков (1910–1993 гг.) вспоминает о том, как Первая мировая война, революции 1917 года, Гражданская война, начало Советской власти виделись ему в его детстве в глубине России под Ливнами.

Книга может быть адресована юношеству и всем, кто интересуется живыми свидетельствами истории Отечества.

О воспоминаниях отца

В самом центре России, на орловской земле, под Ливнами, жил мальчик, сын ветеринарного врача, внук священника. В 1917 году ему было семь лет. Он застал, увидел, сохранил в себе как первые детские впечатления Россию старую, жившую до него веками. И на его глазах происходили великие потрясения всей русской жизни: революции, Гражданская война, первые годы Советской власти... Всё это он видел в родном селе Волово — таком, из каких и состояла вся Россия.

Мальчик вырос, стал москвичом, доктором технических наук, написал много книг по своей специальности — автоматическое управление. Но память его в подробностях сберегла те детские и юные картины. Они ценны для нас сегодня не только как свидетельство человеческой жизни, всегда неповторимой, но и как исторический документ. Это, собственно, и есть история: рассказ о том, как же всё то, что известно нам больше по названиям, по историческим

формулировкам, было в живой жизни — для мальчика, его родителей, родных, друзей, соседей, для страны людей.

«В один из обычных февральских дней папа пришёл из Дворни необычно взволнованный. Он отвёл в сторону Пашу Вуколова и что-то шептал ему на ухо. Я, конечно, пытался подслушать, но меня строго отстранили.

— Не может быть! — сказал Павел, которому передалось папино волнение.

Вошла мама — шепнули ей. Её лицо стало испуганным.

— Что ты говоришь?!

— Подождём вечерних сообщений, — сказал папа.

На другой день он снова уходил в село и, вернувшись, громко сказал:

— Царь отрёкся от престола, вчера пришла телеграмма.

Но люди не верили и боялись, что это сообщение не подтвердится, и взволнованно шептались».

А рядом с этим — воспоминания о подробностях повседневной жизни, поэзия мелочей.

«Нужно было собрать птицу: кур, индюшек, — закрыть курятник, замкнуть каретный сарай и сделать другие мелкие ежедневные дела. Наконец, когда всё было кончено, мы шли домой. Ещё засветло лампы наливались керосином и протирались стёкла, а теперь, войдя в полутьме в кухню, чиркали спичкой и зажигали огонь. И происходило чудо: сумеречный вечер мгновенно превращался в ночь. Окна становились чёрными, в них ничего не было видно, а в комнате было светло от лампы».

Тут нет ничего написанного приблизительно — мол, не очень помню, так заменю общими словами, представлю, как это могло быть. Нет, только то, что было.

«В ранние зимние сумерки мама оживлённо позвала меня из кухни:

— Одевайся скорей, беги на большак!

Я, одеваясь, услышал с большака глухой странный шум. Пока выбежал за ворота, шум утих.

Посередине заснеженной нашей улицы стояла какая-то странная машина на колёсах, а вокруг неё собрались все соседи. «Трактор Фордзон», — объяснили мне. Его вёл из Ливен механик, и против нашего дома он заглох и стал...

Первый небольшой, ниже телеги, трактор на нашей воловской земле! Маленький, беспомощно застрявший в снегу, он показался мне жалким по сравнению с лошадьёю, которой снега ни почём».

Глава «Раннее» составлена из самых первых детских впечатлений. Она имеет особенную художественную интонацию — поэтическую, напоминающую отчасти аксаковскую детскую прозу — такая же спокойная прозрачная память, ясность безценных детских открытий.

«Лето. В столовой у стола таинственно и заботливо возятся папа с мамой, укладывая какое-то бельё. Это они готовят очередную посылку по почте каким-то нуждающимся. Иногда они получали письма от совершенно незнакомых людей (откуда те узнавали адрес?) с просьбой помочь деньгами или вещами. Чаще всего это были студенты. Теперь они готовят посылку молодёжёнам, ждущим ребёнка».

«Родители», «Ветеринарный участок», «Родной чернозём», «Революция», «Красные и белые», «Советская власть», «Разруха», «Гимназия на дому» — по этим названиям глав можно судить о том, как с разных сторон воссоздаётся теперь уже далёкая от нас жизнь.

Та жизнь описана, начиная с самого простого: как мальчик запрягал лошадей, как убирал хлеб, как вообще тогда был устроен быт, — и кончая важнейшими историческими событиями, увиденными его же глазами. Это делает повествование словно бы специально адресованным юношеству, вовсе не знакомому с той ушедшей жизнью. В самом деле, как может юный человек лучше прикоснуться к важнейшему, переломному периоду истории родной страны, как не через мысли, ощущения своего ровесника, жившего тогда? У нас много всяких мнений, идеологических споров о прошлой жизни, а вот саму ту жизнь мы часто не знаем.

Очень важная, острая сегодня тема — тема труда. В этих воспоминаниях она — одна из главных. Есть целая глава: «Золотые руки».

«Я знал, что руки золотые у ливенского сапожника Москвитина, шапошника Мотосова, воловского портного Селищева. Золотые руки, несомненно, были у Алексея Гармонистова и его слепого брата. Это были ещё молодые парни, которых прозвали Гармонистовыми, потому что их отец делал знаменитые гармоники — ливенки».

Глава эта — о русских умельцах, о том, как ценились и славились у нас те люди, которые трудились на совесть, трудились искусно, для кого работа, даже и самая простая, была творчеством.

Это качество — любовь к труду, в том числе и ручному — ныне, увы, сильно отошло. Цель заработка стала важнее ценности самого труда. Так что полезно вспомнить о том, что раньше Русь славилась «золотыми руками», как сам мальчик в годы разрухи, когда не было ни материалов, ни инструмента, создавал нужное из ничего — и стал потом учёным, доктором технических наук, обладателем патентов на изобретения.

Алексей Алексеевич Булгаков работал заведующим лабораторией Института проблем управления (технической кибернетики) Академии Наук СССР. Его научные труды издавались у нас и переводились за рубежом, в том числе в Великобритании.

Воспоминания были написаны отцом в конце 60-х — начале 70-х годов прошлого века. На это его вдохновила Малеевка — замечательный Дом творчества писателей имени А. С. Серафимовича под Москвой, возле Старой Рузы, где они и были написаны. Там здания с колоннами, с галереей напоминали старую дворянскую усадьбу, но на самом деле построены они были после Великой Отечественной войны специально для наших писателей. В несезонное время отцу продали путёвку в Малеевку, и он с удовольствием стал туда ездить, а потом и я за ним. Там невозможно было не писать — всё способствовало творчеству, к которому было прямо-таки благоговейное отношение: и плафоны с надписью «Тише! Шум мешает работать» в коридорах с мягкими коврами, и ржавые сухарики на столах в столовой — если ночью заработаешься и очень захочется поесть, и добрейшие уборщицы, и тишина библиотеки, и ти-

шина окружающей прекрасной рузской, очень русской природы. После московской суеты эта тишина, весь этот покой просто оглушали — первый день нужно было только приходиться в себя.

У Малеевки была своя история. До революции здесь находилась дача купца Малеева. У него её купил Вукол Михайлович Лавров (1852–1912), издатель журнала «Русская мысль», который был родом из Ельца Орловской губернии. К нему сюда приезжали Д. Н. Мамин-Сибиряк, П. И. Мельников-Печерский, Н. С. Лесков. Часто бывал А. П. Чехов, жил в мезонине — дом с мезонином, как предполагают, дал название его одноименной повести. В советское время, с 1928 года, здесь расположился Дом творчества писателей. Деревянное здание было сожжено во время войны немцами. О том, что пережили местные жители во время оккупации, нам с отцом рассказала в 1967 году одна из работниц Дома. Сразу после её рассказа я поднялся в комнату, где тогда жил отец, и слово в слово записал его. Рассказ этот публикуется в настоящем издании в приложении.



В Малеевке была богатая библиотека. В холле перед ней стояли шкафы с книгами, написанными здесь, с автографами их авторов. Было такое впечатление, что чуть ли не половина советской литературы была написана в этом Доме творчества. В разные годы в Малеевке отдыхали и работали В. В. Вересаев, С. Н. Сергеев-Ценский, М. М. Пришвин, А. А. Ахматова, С. Я. Маршак, А. П. Гайдар, О. Ф. Берггольц, А. С. Серафимович, А. Т. Твардовский, А. А. Фадеев, К. А. Федин, К. Г. Паустовский, Ю. В. Трифонов, Д. А. Гранин, Ю. М. Нагибин, Н. А. Заболоцкий, А. А. Галич, В. П. Некрасов, А. Я. Яшин, Е. А. Евтушенко, А. А. Вознесенский, Р. И. Рождественский, Б. А. Ахмадулина, Л. И. Ошанин, С. Г. Островой, Б. Ш. Окуджава, Р. Г. Гамзатов, Ч. Т. Айтматов, М. Карим, В. А. Солоухин, В. Ф. Тендряков, В. Г. Распутин, А. А. Проханов и многие другие.

К сожалению, не только о Малеевке, но и о всех других Домах творчества писателей Литфонда СССР теперь можно говорить только в прошедшем времени.

Отец всю жизнь занимался научно-техническими вопросами и всегда любил стихи. Когда-то взял билет на встречу с Маяковским, но вдруг пришло известие о его якобы самоубийстве — «Как же так, у меня же билет?!»

Над его рабочим столом неизменно висели портреты Пушкина и, конечно, горячо любимого Есенина. А ещё стояла фотография академика по космосу Б. Н. Петрова, которого папа любил и уважал. Он говорил, что Борис Николаевич был верующим, в партию не вступил (как и сам отец).

Однажды папа сказал мне:

— Ты не представляешь себе, какая жизнь была. Все были верующие.

Он не был церковным человеком, но однажды сказал: «В вопросах религии ты оказался прав». Библия, которую ему подарил, была у него вся в закладках. За год до его кончины, в 1992 году, мы приезжали к нему с протоиереем Валерианом Кречетовым, была тёплая встреча.

Много раз, конечно, приходилось слышать вопрос о родстве со знаменитыми Булгаковыми — в том числе он возник при первой нашей встрече с Еленой Сергеевной, вдовой Михаила Афанасьевича Булгакова, в 1966 году (только теперь узнал, что она произошла сразу после кончины в Париже Николая Булгакова — брата писателя, который был прототипом Николки в «Белой гвардии» и «Днях Турбиных»). Ничего об этом родстве нам не было известно. Теперь мы знаем только, что и Афанасий Иванович Булгаков, и дед писателя по материнской линии Михаил Васильевич Покровский, и родившийся в Ливнах протоиерей Сергей Булгаков, философ, экономист, духовный писатель, профессор Свято-Сергиевского православного богословского института в Париже, и мой дед Алексей Алексеевич с его братьями — все они учились в Орловской духовной семинарии. До них её окончил святитель Феофан Затворник (Говоров), родившийся между Ливнами и Ельцом.

Папа однажды написал мне то, что помнил о наших предках:

«Мой дедушка, твой прадедушка, отец Алексей Булгаков (Алексей Григорьевич) служил

в женском монастыре святой равноапостольной Марии Магдалины в селе Губаново, Никольское тож, недалеко от города Ливны Орловской губернии. Не помню, каков был его сан — может быть, протоиерей.

Дедушка был глубоко верующий, строгий пастырь. У него было десять человек детей: пять сыновей и пять дочерей. Все сыновья учились в Орловской духовной семинарии, четыре дочери — в епархиальных училищах.

Дядя Павел закончил семинарию с отличием и преподавал в Ливенском духовном училище географию, естествознание, которые очень любил, и, возможно, историю. В отличие от моего отца, он был традиционным верующим и, когда бывали у дедушки в Губаново, подпевал молитвы перед обедом. Он выписывал журнал «Вопросы философии и психологии», по своему складу был настоящим учёным-краеведом (его записи о Ливенском крае сгорели со всей его богатой библиотекой в Ливнах), и не мог не знать своего знаменитого земляка, тоже из Ливен — Сергея Николаевича Булгакова. Думаю, они не были родственниками — об этом я обязательно узнал бы: отец Сергей тоже учился в Орловской духовной семинарии, и примерно в одно время с моим отцом и его братьями. Когда я учился в Ливнах в 20-е годы, о нём не знал, отец Сергей был под запретом.

Старшая дочь деда, Вера, была женой священника Вуколова; Пелагея вышла за священника Николая Сперанского; Екатерина — за священника Говорова; Мария, окончившая Высшие женские курсы в Москве по разряду изящной словесности,

учила детей в приюте Марии-Магдалининского монастыря в Губаново; Александра была замужем за священником Доброхотовым».

Некоторых имён отец, к сожалению, не запомнил. Здание ливенского духовного училища сохранилось, в нем ныне находится лицей имени С. Н. Булгакова, в помещении церкви — столовая. На здании имеется мемориальная доска протоиерея Сергия Булгакова. Хорошо бы установить и мемориальную доску, говорящую о том, что здесь учились святитель Феофан Затворник и авиаконструктор Николай Николаевич Поликарпов.

Отец писал далее:

«Дядя Василий служил священником в Кромах под Орлом. Мы навещали его после смерти моей мамы — в 1948 или 1949 году. Дядя был тоже глубоко верующий христианин. Вероятно, его вера и ум спасли его от всех репрессий. Когда началась коллективизация, он оставил свой дом со всем имуществом, а сам со своей глухой женой, с одной котомкой за плечами перебрался жить в бедную хатёнку с земляным полом, где мы и были у них.

Во время Отечественной войны он оставался на оккупированной территории, а когда наши войска, наступая, подошли ко Кромам, они с женой положили в котомку сухарей и несколько дней прятались в овраге за городом, пока Кромы не освободили наши войска. Так они спаслись от угона в Германию и других возможных репрессий.

Церковь в Кромах была закрыта, но дядя, верный своему пастырскому долгу, крестил но-

ворождённых и отправлял другие требы в хатах. За это областное духовное начальство в Орле угрожало лишить его сана.

Умер дядя, примерно, когда ты родился».

То есть около 1950 года. Возможно, и родился я по его молитвам.

Со старшим братом Алексеем Алексеевичем мы побывали в Кромах, где отец Василий был благочинным, в храме, где он служил — там его поминают; нашли его могилу.

Были и в возрождённом женском монастыре святой равноапостольной Марии Магдалины, где служил наш прадед с 1899 года до своей кончины осенью 1918 года. А может, сподобился в какой-то степени и пострадать. Нам с братом рассказывала местная старушка, что 6 января 1918 года было серьёзное нападение на монастырь. Нам говорили ещё монахини, что обнаружили в монастыре — в самом храме или рядом — могилу священника в мощах.

В марте 1918 года «Орловские епархиальные ведомости» писали:

«С осени Ливенский Марие-Магдалининский монастырь стал подвергаться враждебным набегам окружающего населения: вырубался монастырский лес, воровались с огорода овощи и оскорблялись сёстры монастыря. 4 ноября сельские комитеты местных деревень, явившись в монастырь, вызвавши сестёр из храма, объявили молодым сёстрам разойтись и, отобрав скот и хлеб, удалили солдат, охранявших монастырь. Комитеты заявили настоятельнице монастыря игумении Магдалине, что они сами будут управлять монастырём. Настоятельница ввиду опасности для

жизни принуждена была уехать из монастыря. Но и после этого враждебное отношение крестьян к монастырю не прекратилось.

9 декабря минувшего года поздно вечером крестьяне деревни Андриановки, собравшись на монастырский двор, подвергли избиению охранявшую амбары рясофорную послушницу. Услышав шум и крики, монахини ударили в набат... На другой день в трапезной монастыря Кудиновский волостной комитет вместе с другими сельскими комитетами устроил собрание, на котором было постановлено отобрать у монастыря ключи от амбаров и всего имущества. Несмотря на то, что собрание происходило в трапезной, крестьяне вели себя вызывающе: курили, сидели в шапках и даже ругались скверными словами...

Наконец, 19 января монастырь совершенно был разграблен. В этот день вечером толпа крестьян из села Губанова, придя в монастырь, поставила вооруженных солдат кругом монастырской ограды и на колокольню, чтобы не дать возможность звонить в набат. Толпа, окружив настоятельский корпус, грозила убить настоятельницу. Последняя, переодевшись, задним ходом вынуждена была покинуть монастырь и уехать в Ливны. Собравшаяся толпа расхитила всё уцелевшее от прежних погромов монастырское имущество: лошадей, коров, птицу, весь корм и инвентарь. Убыток монастыря достигает двухсот тысяч рублей».

Как сообщалось, в августе 1918 года в соседнем с Никольским селе Кривцово-Плота вспыхнуло восстание против большевиков. Толпы по-

встанцев штурмом взяли Ливны, частью перебив, частью вытеснив из города красноармейский гарнизон. При подавлении восстания сотни крестьян были расстреляны. Священников монастыря Марии Магдалины, Димитрия и Михаила, расстреляли неподалёку от города Ливны, в лесу. Монастырь был закрыт, многие насельницы были репрессированы. Несколько сестёр проживали в Никольском вплоть до 1970-х годов.

Учась в ливенской школе, отец подружился с «Вовкой Оболенским», как он говорил. Понятно — воспитание было одного духа: Владимир был сыном протоиерея Иоанна Оболенского, который был расстрелян в 1937 году. С его сестрой, будущей монахиней Еленой, мы познакомились, можно сказать, чудесным образом в 1993 году. Она тогда трудилась за свечным ящиком в храме Ильи Обыденного в Москве, что близ Храма Христа Спасителя (отец, когда приехал в Москву, смотрел на город со смотровой площадки этого Храма, ещё не разрушенного). В нашем разговоре Елена Ивановна произнесла слово «Ливны». Я, понятно, встрепенулся: «Как Ливны?!» Оказалось, что, глядя на меня, она подумала: «Уж очень на Алёшу похож. Скажу-ка про Ливны...» То есть она вспомнила отца через 70 лет — вероятно, он не раз бывал у них дома. Со дня его кончины тогда не прошло ещё сорока дней, и она сказала: «Алёшу-то я помяну...» Сороковой день после кончины отца приходился под праздник иконы Божией Матери «Нечаянная Радость», один из самых почитаемых списков которой находится в этом храме. «Вот так, — подумал я, —

пострадавшие за веру с небес заботятся о нас, даже о школьном друге своего сына». Монахиня Елена, теперь уже почившая, была ровесницей явления Державной иконы Божией Матери — родилась 2 марта 1917 года. В храме, посвящённом этой иконе, я служу. Жила на покое в Зачатьевском монастыре на Остоженке. Однажды, когда мы с матушкой её навещали, она сказала: «Вы думаете, я чего у Бога прошу, прощения грехов? Нет — как бы мне не отречься от Него».

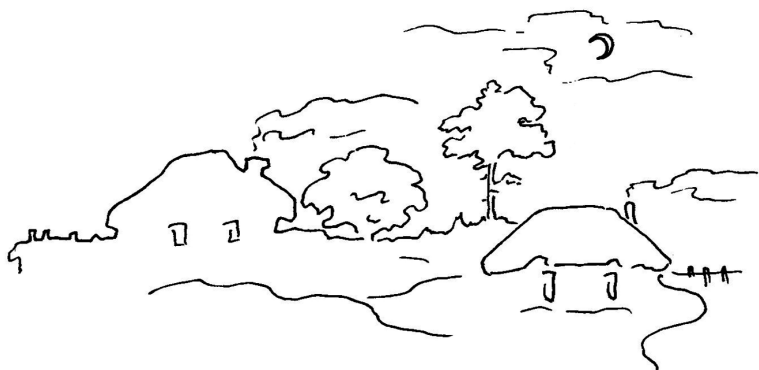
Когда мне предстояло, после рукоположения во иерея, впервые исповедовать, в Великий Четверг в храме Покрова в Акулово, туда приехала моя крестница со своей семилетней дочерью, которой тоже предстояла первая в жизни исповедь. Но, когда я вышел из алтаря исповедовать, девочку опередила монахиня, которую я первой и исповедовал. Может быть, всё это было по молитвам прадедушки, который исповедовал монахинь?

Так иногда неожиданно проявляется невидимая, но очень прочная связь с нашими предками, без которых нас не было и нет.

Первая публикация воспоминаний:

http://ruskline.ru/author/b/bulgakov_aleksej_alekseevich/.

Протоиерей Николай Булгаков



*Своими
глазами*

ВОСПОМИНАНИЯ

1

Волово-Ливенское

«Волово-Ливенское» — это был наш телеграфный адрес. Мне он очень нравился... Приятно было думать, что не такие уж мы захолустные, если всего двух слов «Волово-Ливенское» и нашей фамилии достаточно, чтобы нас разыскать в целом мире.

Волово когда-то было большим богатым селом на большаке — гужевой магистрали из средней России через Старый Оскол, в Белгород на Украину, Донецк (тогда Юзовку) и далее Крым и Кавказ.

К революции в Волово насчитывалось три с половиной тысячи жителей и пятьсот дворов, составлявших три части села: Мокрец, Висленку и Ржавку¹.

Волово занимает господствующую высоту на водоразделе между реками Кшень и Олымь в верховьях Дона. Раньше здесь рос мачтовый лес — сосны и дубы, но при Петре Великом их начали вырубать и сплавливать по рекам в Воронеж, где царь строил флот. И от лесов не осталось даже памяти.

Вершину этой высоты называли у нас курганом. С кургана до самого горизонта открывался однообразный простор овражистых полей, который украша-

¹ *Ржавцем* у нас называют родничок — начало реки.

ли только редко разбросанные ветряные мельницы и ещё более редкие колокольни церквей.

А на пути в Волово издалека показывались, прежде всего, зеленые шапки тополей и лип нашего сада, как оазис в пустыне. Летом в ясную погоду на горизонте за тридцать вёрст можно было рассмотреть шлейф дыма поездов.

По большаку, вверх к кургану поднималась главная улица села, которая называлась Дворней. Называлась она так потому, что в Волово жили однодворцы. Так Пётр Великий повелел называть служилых людей, которых он освободил от крепостной зависимости и даже дал им право иметь своих крепостных. Воловские однодворцы служили ямщиками и извозчиками. Бывших же крепостных крестьян окрестных помещиков у нас называли «цуканами». Цуканы даже говорили на своем диалекте, например, вместо «цепь» говорили «чеп».

Бабушка рассказывала, что воловские купцы дали крупную взятку инженерам, и они провели дорогу подальше от Волово, чтобы не подрывать их торговлю. Но позже я узнал, что железные дороги стараются строить по долинам рек, где рельеф местности ровнее и строительство дешевле, а гужевые дороги, как наш большак, наоборот, проводили по водоразделам, откуда раньше спадает весеннее половодье и где земля суше. Поэтому Волово оказалось в 17-ти верстах от ближайшей станции Набережная и целых 50-ти от своего уездного города Ливны.

Наш большак проходил точно с юга на север, от Старого Оскола к Ливнам. Когда-то, во времена татарских набегов, в XVI веке, здесь проходил Калмиусский шлях, и под Ливнами он соединялся с Изюмским шляхом. Все эти дороги сходились к Туле, а Тула в начальный период становления русского

централизованного государства была главной крепостью на пограничной линии, которая проходила по реке Оке. На дальних подступах пограничной линии были построены крепости Ливны и Воронеж, а южнее начиналось «Дикое поле», с которого совершали набеги половцы и татары. В 1593 году ногайский отряд татар совершил набег на Ливны, разрушив их дотла.

Пётр Великий проложил через Калмиусский шлях почтовый тракт — правительственную магистраль из Москвы на юг, и появились большаки. Большак был широкой грунтовой дорогой. По приказу Екатерины его обсадили с обеих сторон вётлами в два ряда для защиты зимой от снежных заносов, а летом — от жары.

Большаки делали широкими, как поле, для того, чтобы кормить на подножном корму перегоняемые по ним гурты скота.

До постройки железных дорог по нашему большаку на тройках носились лихие воловские ямщики. На перекладных мчались Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, а иногда и Гоголь на птице-тройке со своим железным сундучком в багаже, в котором, кроме бумаг, ничего не было. В грёзах полусна, под звон валдайских колокольцев они слагали свои бессмертные творения. На воловской почтовой станции, где теперь Дворня, они останавливались размять затекшие мышцы и выпить горячего чаю или пунша, пока сменят лошадей. А Гоголь, зябко поёживаясь, подсаживался к жарко топившейся русской печи и задумчиво любовался игрой вечно мятущегося пламени.

На длинных, пустынных зимой перегонах ямщики сложили самые русские, самые задушевные, подлинно народные песни. К нашему неосознанному горю, из многих десятков ямщицких песен я слышал лишь

единицы: «Вот мчится тройка почтовая», «Однозвучно гремит колокольчик», «Ямщик, не гони лошадей», ну, ещё две, три, а теперешнее поколение и этого не услышит в грохоте дискотек.

Большую дорогу воспел Иван Сергеевич Аксаков:

*Прямая дорога, большая дорога!
Простору немало взяла ты у Бога,
Ты вдаль протянулась, пряма, как струна,
Широкою гладью, что скатерть, легла!*

По большаку шли нескончаемые обозы с хлебом, салом, пенькой и другими продуктами из нашего, самого урожайного, района в промышленный центр.

Когда провели железные дороги, извозный промысел свернулся, и люди стали ходить на заработки в Юзовку на шахты, а остающиеся дома поставляли туда чуни для шахтёров.

Чуни — это верёвочные лапти. Настоящие лапти делали из липового лубка, а чуни плели из верёвок с помощью особого инструмента вроде шила кочедыка на деревянной колодке. В чунях ходили все бедные крестьяне, но главным их потребителем были шахтёры Юзовки, они в них работали в шахтах. Поэтому изготовление чуней было основным кустарным промыслом тех лет в Волово.

К моему времени, ещё в XIX веке, вёглы срубили, большак сузили до ширины одной десятины (восемьдесят метров), и он состоял из большого числа колеи, как рельсы на товарной станции. По одной колее ездили, и летом в сухую погоду она блестела, как асфальт, остальные стояли про запас на случай распутицы, когда чернозём превращался в грязь.

С переходом Волово из Ливенского уезда Орловской губернии в новую Липецкую область (Липецк

был раньше небольшим уездным городком Орловской губернии) Волово оказалось в глухом тупике у границы Курской и Орловской областей, всего в полусотне километров от областей Тульской и Воронежской, то есть в самом сердце европейской России. Большак на Ливны превратился в просёлочную дорогу, зато к станции Набережное проложили шоссейку, а в Липецк из Волово стали летать два раза в день самолёты.

Если ехали в Волово по большаку с юга, из Старого Оскола, село начиналось с длинной улицы, которая вела к высокому дубовому мосту через нашу безымянную речушку. Справа от моста у самой воды располагались кузни. Здесь не только ковали лошадей, но делали все незатейливые механические работы того времени. На берегу, чуть выше, был ключевой колодец из двух больших дубовых венцов, ниже которых — рукой достать — было зеркало воды. Отсюда привозил нам в бочке питьевую воду воловский водовоз Иван Захарович.

За мостом, на подъёме в довольно крутую гору, высоко над дорогой стоял красивый дом с мезонином, обшитый тёсом и окрашенный охрой, с сиреневым палисадником и проволочной изгородью. Это был дом купца красным товаром Гревцева. За ним скрывался дом богатого купца Морозова. Сразу за домом вдоль улицы начинались его лавки с бакалеей и гастрономией. Перед ними в торговые дни стояли открытые, остро духовитые бочонки с сельдями, белой и красной рыбой, икрой, а в магазине было много других товаров, вплоть до красных вин и печенья «Эйнем» (теперь это московская фабрика «Большевик»). Морозов снабжал не только жителей села Волово, но и окрестных помещиков.

На горе, за белой каменной оградой с зелёными железными воротами, стояла большая красивая белая

церковь с высокой трёхъярусной колокольней. Колокольня была видна далеко в окрестностях, особенно с юга. Главный колокол имел солидный густой тон с красивым тембром — как бас Шаляпина. Его мощный голос наполнял пространство до горизонта своим звоном, то буднично-деловым к обедне или вечерне, то торжественным и радостным перезвоном мелких переливчатых колоколов на Пасху, то бил тревогу — набат пожара, и становилось жутко. Так было, когда горела Дворня — из окон нашего дома было видно, как вдоль большака тянулся по ветру горизонтальный жгут плотного дыма, и у мамы на лице был ужас: «Дворня горит».

Колокольня была, как маяк в степном океане — ориентиром, когда её было видно, а её звон — позывными в ненастную зимнюю погоду, метели и бураны. В такую погоду специально звонили в колокола особым звоном — сильным, как набат, но не частым тревожно-торопливым дон-дон-дон, а призывным, успокаивающим, и кто знает, скольким заблудившимся путникам этот звон наполнял душу радостью спасения.

При коллективизации церковь закрыли и сначала использовали для ссыпки хлеба, а потом совсем разобрали, и теперь трудно узнать место, где она стояла.

При церкви, за её оградой, было маленькое кладбище, где младенцем была похоронена моя старшая сестра Зиночка. У входа в ограду, слева, стояла караулка — домик для церковного сторожа, а справа — другой домик, церковно-приходской школы, где жила до замужества учительница — моя мать.

Вправо за церковь было старое кладбище и большая площадь — «выгон», на котором было много заросших травой ям. Говорили, что это остатки выкорчеванных пней дубовой рощи.

По-над ручьём шла улица Поповка с домами отца дьякона Гончарова, священников отца Василия Цветаева и отца Леонида Кутепова, а за ними шли хаты крестьян Висленки.

Крестьянские хаты села, в большинстве крытые соломой, тянулись по высоким берегам ручья. Перед хатами росли ракиты, а в палисадниках цвела неизменная мальва.

Ракита — очень неприхотливое и живучее дерево, вид ивы. Достаточно весной или осенью воткнуть в землю зелёную палку, и из неё вырастает развесистое, тенистое дерево, похожее кроной на дуб. В наших безлесных местах остались только ракиты, украсившие каждую деревню.

За дворами хат к ручью спускались «зады» — полоски огородов.

На всех огородах главное место занимали конопля и картофель и царствовали солнечные диски подсолнухов. У самой воды сажали капусту.

Конопля росла мощная, выше человеческого роста. Она пахла резким, но приятным запахом. Её сеяли у нас испокон веков. Она была необходима и для гужевого транспорта — извоза, основного занятия жителей села до железных дорог, и для одежды, и для питания. Из пеньки — волокна конопли — пряли суровые нитки для грубого холста и вили верёвки для вожжей, канатов и чуней. Холсты ткали почти в каждой хате на самодельных деревянных станках. Из холста шили мешки и веретья для зерна. Из семян били густое зеленоватое сильно пахучее масло для еды, а оставшийся жмых любили есть лошади, да и мы, дети, не брезговали полакомиться.

Из крепких прямых стволиков конопли — конопелок — мальчишки делали опасные стрелы для луков.

В тонкий конец вставляли «цыганскую» (очень толстую) иглу и аккуратно закатывали это место смолёной суровой ниткой.

Другой источник волокна — лён — сеяли больше на полях. Из льна пряли нитки для тонкого холста. Льняные холсты весной отбеливали на солнце, расстилая на лугах. Из льняного холста шили одежду. Мужские портки красили тёмно-синей «кубовой» краской, а женское платье вышивали цветными нитками. Меньше ткали грубошёрстной ткани из овечьей шерсти.

Овец у нас водили очень много, даже самые бедные крестьяне имели овец. Овцы одевали, обували и кормили. Большую часть овец резали на мясо, а шкуру дубили и шили полушубки. Полушубки — новые молодцеватые вподбор, нагольные, крашеные охрой или крытые сукном, и старые, изношенные до дыр, были почти единственной зимней одеждой и богатых, и самых бедных крестьян. Меньшую часть овец стригли до гола на шерсть большими овечьими ножницами, и они становились худыми, жалкими, пока не вырастет новая. Из шерсти катали валенки. Мне не удалось видеть, как это делается, и я не мог понять, как из пушистой шерсти получают такие твёрдые валенки. Как хорошо было в валенках в зимние морозы в двадцать-тридцать градусов! Из шерсти пряли нитки для чулок, шалей и ткали полотно. А мясо! Что может быть вкуснее поджаристых с красноватой корочкой скибок картофеля, жареного с бараниной, или чёрной (гречневой, в отличие от белой — пшённой) каши с бараньим салом. Наложит мама полную тарелку, польёт растопленным бараньим салом, которое овцы копили в своих курдюках, пригладишь её ложкой...

Прямо по большаку за церковью шли домики Дворни. Среди них пекарня «Виденейча» — Алексея

Венедиктовича Дроздова. Далее — двухэтажное белое здание почты и телеграфа. Здесь стоял последний телеграфный столб линии, которая связывала Волово с железнодорожной станцией Тербуны.

Телеграф был единственной осязаемой связью с внешним миром. Он начинался на первом этаже почты небольшим бронзовым аппаратом Морзе и проволокой переходил на столбы телеграфной линии. Между тонкими дубовыми столбами была натянута на белых фарфоровых стаканчиках одинокая струна, и, если приложиться ухом к столбу, было слышно, что она жалобно и непрерывно гудит о чём-то своём, непонятном. «Это бежит телеграмма», — думал я.

Через дорогу от почты стояло одноэтажное длинное здание волостного правления — позже Нардом, а ещё через прогалок — двухэтажное кирпичное красное здание земской больницы со службами.

Больница была большая, хорошая. При ней в одноэтажном кирпичном доме за изгородью из жёлтой акации была квартира врача.

Возле Нардома стояла земская школа с двухкомнатной квартирой для учительницы, а рядом был «Гамазей». Так называли «Магазин» — заброшенное высокое здание с воротами и без окон для хранения хлеба.

За больницей большак, поднимаясь, проходил с полверсты по пустому полю, за которым стояли на отлёте, вроде хуторов, наша усадьба ветеринарной лечебницы и три дома братьев Галактионовых.

Все три брата по прозвищу Косоротовы имели большие ветряные мельницы, которые стояли за дворами их усадеб. Поселились они поодаль от села, на кургане, по понятной причине — это место было открыто всем ветрам.

Мельницы были большие, этажа в четыре высоты, на два постава, шестигранные, обшитые тёсом. Строил их знаменитый на всю округу плотник, специалист по мельницам Шалимов со своими четырьмя сыновьями из села Жерновец.

Мельницы Ивана и Василия не работали, а хозяйства их обеднели — у них были одни дочери. У Ивана была ещё когда-то конная просорушка. Смутно помню, как по косому кругу шли лошади, круг вертелся, через вал с выступами поднимал и бросал толкачи, которые сбивали с зёрен проса скорлупу, и получалось пшено. Но скоро от неё осталась только яма, засыпанная мусором и поросшая бурьяном.

Младший брат Андрей Терентьевич был самый богатый крестьянин в нашем селе. Среднего роста с рыжей бородой, с хитроватыми глазами и искалеченной на мельнице ладонью левой руки. Он имел до революции шестьдесят десятин (гектаров) земли, вдвое больше, чем наши мелкопоместные помещики вроде генерала Павлищева или Ветчиных. Кроме мельницы, крылья которой крутились, к моему удивлению, даже при самом тихом ветре, у него были довольно редкие среди крестьян диковинные сельскохозяйственные машины. Например, конная молотилка, конная «самоко́ска», иначе «жатка», на жёлтой платформе которой стояла надпись «Мак-Кормик». Когда она ехала по полю, её грабли, как огромные руки, со стрёкотом описывали в воздухе размашистую кривую, собирали срезанную ножами, похожими на пилу, рожь и укладывали её аккуратными ровными рядами на остававшееся жнивье.

У большинства крестьян были только деревянные сохи и, редко у кого, однолемешный плуг.

Рядом с «рыгой» (так у нас называли риги — огромные шалаши, покрытые соломой, с воротами, в ко-

торые мог въехать воз и в которых в плохую погоду молотили цепами и веяли хлеб), на току, стояли конная молотилка, плуги и веялки.

Мельница работала постоянно, за исключением полного безветрия и военного коммунизма. Она, да ещё водяные мельницы Баранова и Колобашкина на реке Кшень обслуживали огромный район. За помол брали десять процентов, то есть четыре фунта с пуда.

За последним домом дорога и телеграфная линия сворачивали с большака вправо, в поле, и телеграфные столбы, уменьшаясь, исчезали в манящей дали горизонта. Есенин ещё не выразил свою боль:

*Стынет поле в тоске волоокой,
Телеграфными столбами давясь...*

А налево от большака из подземных глубин вырывался родник, с которого начиналась наша безымянная речка. По её берегам, заросшим густым ивняком, протянулось версты на две наше село, начинаясь от Мокреца.

На Мокреце жила «справная» семья Константина Харитоновича Сырых. Все жители Мокреца были Сырых.

Константин Харитонович не получил такого богатства, как мельники Галактионовы, имел мало земли. Весь его достаток был создан своими руками — его и трёх сыновей: Василия, Матвея и Тихона. Он принадлежал к тем передовым крестьянам, на которых поднялась Россия в начале века. Был организатором и председателем Волковского Кредитного Товарищества², в котором мой папа был председателем ревизионной комиссии.

² *Кредитные товарищества* — производственные крестьянские кооперативы, центром которых был Московский народный банк, созданный в 1912 году на кооперативных началах. В 1917 году в России насчитывалось 16,5 тысяч кооперативов, 80% которых составляли кредитные товарищества.

В конце войны Константин Харитонович умер. Его сыновья поженились и разделились. Василий и Матвей перед коллективизацией незаметно и навсегда покинули Волово, спасаясь от неизбежного для них раскулачивания, а Тихон остался, потому что служил фельдшером в папиной ветлечебнице.

Таковыми же передовыми и небогатыми крестьянами были Бачурин, по прозвищу «Склизкий», дочь которого, мамина подруга, изучала заочно «Гимназию на дому», Шумский, старший сын которого учился в Московском университете, и другие.

Начальником в Волово был толстый и важный становой пристав. Один раз мы с мамой зашли к его жене. Пока мама вела с хозяйкой длинные разговоры, я от скуки залез под кровать и обнаружил там несметное богатство — старые сабли и шашки разных фасонов, явно выброшенные приставом. Мне очень хотелось попросить хоть одну саблю поиграть, но мама обнаружила мои ноги, извлекла меня из-под кровати, и мне стало уже не до игрушек.

Ещё были урядники рангом ниже. Они ходили в синей форме, в фуражках с красным околышем и синим верхом. На околыше фуражки была кокарда, овальная, как и теперь, только с гербом — двуглавым орлом. На мундире с плеча спускались золотые шнуры и на них — «висюльки» из латуни, кажется, это были аксельбанты.

Ещё были простые стражники.

Больше никакого начальства не помню.

Изредка к нам на кухню заходил Ваня Большовский — это был юродивый, которым пугали детей. Поэтому я смотрел на него издали с опаской. Это был худой, какой-то перекошенный мужчина в лохмотьях, через рваную гимнастёрку проглядывало голое тело,

босой. На голове мятая фуражка стражника с красным околышем и ломаным козырьком. Говорил он нечленораздельно, больше мычал, радостно осклабясь:

— Моя пришла.

Его приветливо встречали, кормили. Девушки подтрунивали:

— Когда же ты женишься?

В ответ он смущался и растерянно-протестуяще что-то гудел, жадно ел и уходил дальше, получив на дорогу хлеба и копеечки.

Мама говорила, что Ваню Большовского нельзя обижать и смеяться над ним, что он юродивый — человек Божий. А я смотрел на голое и грязно-загорелое тело, просвечивающее через лохмотья, и с ужасом представлял, как он будет ходить босыми ногами зимой по снегу.

В Волово была частная аптека немца, переехавшего в Россию (тогда это было часто), Василия Фёдоровича Бекмана. Это был плотный мужчина с квадратной головой, седым бобриком, говорил с акцентом. У него была жена Мария Фёдоровна, дочь Эдит и сын Жорж, которого звали Жошка.

Сначала Бекман снимал под аптеку второй этаж дома, на первом этаже которого были телеграф и почта, а потом построил на Дворне свой собственный деревянный дом.

В первой большой комнате помещалась аптека: стойка, шкафы с банками, склянками, — а в задней части дома жила семья. На одном шкафу стоял предмет восхищения и зависти — модель парусного корабля, совсем как настоящего.

Перед домом росли каштаны с удивительными цветами в форме пирамиды — диковинкой в наших местах, — а под ними — великолепный цветник.

Во всём чувствовалась особая, непривычная у нас немецкая аккуратность.

Хотя в Волово был прекрасный продовольственный магазин Морозова и менее прекрасный промтоварный Гревцова, но даже в Ливнах нельзя было купить многие изысканные вещи.

Выручал «Мюр и Мерелиз». Это была крупная торговая фирма. В её магазине в Москве на Петровке находится теперешний ЦУМ. Я тогда Москвы не знал, и для меня «Мюр и Мерелиз» — это была книга, иллюстрированный прейскурант, напечатанный на хорошей тонкой бумаге. В нем был перечень буквально всех товаров, с описаниями, фотографиями и ценами. И всё это можно было получить не сходя с места — почтой. Достаточно было послать заказ, чтобы пришёл товар в прекрасной упаковке. Так мы получили на почте все наши большие лампы и граммофон. Почти все товары были импортные. И они в глухой провинции были тогда доступнее, чем мне теперь в Москве в тридцати минутах езды от ЦУМа.

Иногда заходили коробейники-китайцы. Товар у них был весь на голове в одном большом тюке, увязанном парусиной. Китаец в широких синих штанах заходил, лепетал что-то трудно понятное «твоя», «моя», помогая словам пальцами. Снимал тюк с головы на пол, развёртывал его и показывал все свои богатства: пёстрые ситцы, платки, бусы, пуговицы. Чего только у него не было! Набегали бабы, девки, поднимались споры, начинались охи, ахи, отчаянно торговались, покупали. Китаец снова ловко укладывал свой товар и уходил дальше с тюком на голове.

Осенью, в праздник Воздвижения Креста Господня, в Волово открывалась знаменитая далеко в окрестностях ярмарка. В центре села на выгоне строились

карусели с деревянными лошадками, красивыми стеклянными висюльками, всё крутилось, играла музыка, я ехал верхом на коне.

И чего только не было на ярмарке, совсем как у Гоголя. Вот горы огромных арбузов, а вот гора лука, а там — торговля лошадьми. Барышники и цыгане отчаянно торгуются, бьют по рукам, клянутся, бросают шапку на землю. Уходят, возвращаются, опять торгуются.

Один раз на Воздвиженскую ярмарку приезжал из Губаново сам дедушка, отец Алексей, с тётёй Верой — своей дочерью.

Высотное положение наших мест отражалось на всей нашей жизни. У нас было мало воды. По воде была тоска. С завистью думалось, что где-то есть речные места: возле Кшени, Олыми.

Какая бывает большая вода, мы, дети, знали по весеннему половодью. Снега таяли, и весь сад был в воде. В её зеркале отражалось голубое небо с облаками и ещё голые ветви деревьев, еле прикрытые зелёной дымкой распускающихся почек. Ров вокруг сада казался речкой, по которой можно плавать, став на доску.

Из колодца на нашем дворе воду не пили. Питьевую воду привозил из родника возле моста водовоз Иван Захарович. Это был широкий дядя в красной рубаше с большой чёрной бородой, но я его не боялся. Он привозил бочку, которая лежала боком на дрогах с окошком сверху, чтобы доставать воду, распрягал лошадь и уходил, а бочку с водой оставлял на нашем дворе.

Несмотря на наш знаменитый чернозём (двухметровой толщины), у нас часто бывали неурожаи из-за засухи. С весны долго не было дождей, люди ходили мрачные, вздыхая, смотрели на небо, а оно синело равнодушно и жарко. И тогда миром — сходкой решили: надо устроить крестный ход на Ступочку. Ступоч-

ка — это около села, у родника, был большой камень, на котором осталась ямка, по преданию, от стопы Божией Матери.

У церкви собиралась толпа, выносили вдвоём большую икону Скорбящей Божией Матери и много хоругвей. Впереди шёл священник, следом за ним — дьякон с причтом и весь народ. Дорогой женщины пели молитвы и псалмы, по-волоовски протяжно, заунывно. Я издали смотрел на хоругви, на шествие толпы, вздымавшее пыль, слушал надрывное пение.

После крестного хода часто смотрели на небо, ожидая дождя, но жгучее солнце на чистом синем небе по-прежнему равнодушно пекло иссохшую, растрескавшуюся, пыльную землю, а дождя всё не было и не было.

Рожь не колосилась, яровые чахли, люди горевали.

В жаркие летние дни все, кто мог, прятались в тень, всё затихало: и животные, и птицы. Люди куда-то исчезали спать.

Мама, чтобы уменьшить жару в доме, на весь день опускала шторы на подкладке на окнах с южной стороны дома, и в доме дышалось легче.

К вечеру спадал зной, начинала просыпаться жизнь, а к закату становилось совсем легко, и всё оживало. Солнце спускалось к горизонту, сплющивалось в лёгком мареве и окрашивало облака в фантастическое зарево, которое по мере того, как уходило за край земли, меняло свои тона. Сначала они были оранжево-красные, вверху потемнее, переходя на малиновые, фиолетовые, затем синие к горизонту. Потом солнце исчезало, а облака всё ещё светились фиолетово-красными тонами, освещаемые лучами уже невидимого солнца. Багрово-красно-фиолетовое постепенно слабело, темнело, сдвигалось к горизонту, сужалось, а на противоположной стороне неба становились заметны

звёздочки. Начинались сумерки. Воздух становился тихим и прозрачным, так что было слышно далеко-далеко. Где-то на Висленке скрипел колодец, на Мокреце лаяли собаки, со стороны Ржавки доносилась гармоника. Потом всё утихало. Небо становилось темнее, а звёзды ярче, потом делалось почти чёным, и на нём ярко сияли несчётные звёзды, и среди них явственно проступала серебряная дорога — Млечный путь.

Наступала знойная томящая чёрная ночь, такая чёрная, что не было видно собственной руки. А когда цвели липы, воздух был напоен ароматом, плотным, как вода Чёрного моря в июле.

Летом с высоты нашей усадьбы было видно, как от большака до овражка с низкорослыми дубками — выродками когда-то могучих дубов — уходили, исчеза к горизонту, бесконечные полосы поля.

Поля тогда были не такие уныло-однообразные, как теперь, а очень красивые — пёстрые и разноцветные. Издали они казались шахматной доской из клеток самых разнообразных цветов, как лоскутное одеяло. С запада на восток тянулись прямые межи шириной в одну повозку — чтобы ездить в поля и вывозить урожай. Между межами было одинаковое расстояние в одну десятину. Поперёк с севера на юг тоже проходили межи, но узкие, только чтобы разделить поля отдельных хозяев. Наделы были небольшие. Севооборот был трёхпольный, то есть одна треть земли ежегодно стояла под паром, не засеивалась и отдыхала. На ней пасли скот, который за это удобрял землю. Остальные две трети земли занимали разные клины.

Главное и самое важное место принадлежало озимой ржи. Второе место — овёс и просо, реже сеяли гречиху и лён. Издали все хлеба имели разные цвета, которые менялись по временам года. Весной из-под

снега открывалась изумрудная озимая рожь и густо-чёрные пары. К лету рожь росла и постепенно желтела. Поднимался нежно-зелёный, как акварельная краска поль-веронез, овёс, вскоре его догоняли коричневые метёлки проса, и сплошным белым цветом цвела гречиха, редкие клины льна цвели, как голубое небо. Вдали на клетках паров паслись разбредшиеся поодиночке лошади и коровы и сбившиеся кучками овцы.

На межах цвели самые разные травы: ромашки, васильки, поповник, — над которыми гордо возвышались кусты татарника с малиновыми шариками цветов, росли пахучий чобор и серо-зелёная полынь. А в небо взмывали вверх и застывали на месте жаворонки.

Зимой, когда шёл снег, выли метели так, что ныло сердце. Снег застревал в нашем саду и заносил дом и конюшни до крыши. В снегу рыли траншеи к дровам и на конюшню, и мы, дети, по снегу переходили через крыши конюшни и сарая в сад и смотрели в поле.

Какое снеговое раздолье! Неоглядные белые пространства, в которых на солнце сверкает снег искрами всех цветов радуги.

Как замороженные, мы глядели на эти манящие, но недоступные нам просторы, потому что в снегу можно было утонуть с головой, а лыж у нас не было. Да мы и не знали, что такое лыжи.

Мы развлекались, строя из снега на высоких обрывах снежных траншей крепости и башни, воевали снежками, а весной, когда снег становился липким и оседал, лепили снежные бабы.

Волово-Ливенское — моя родина.



*Алексей Алексеевич и Лидия Матвеевна Булгаковы
с сыновьями Алексеем (справа) и Владимиром.
1918 г.*

Родители

«Тысяча восемьсот семьдесят шестого года, февраля четвёртого рождён и седьмого крещён Алексей, родители его села Спасо-Рославля священник Алексей Григорьев и законная жена Наталия Алексеева Булгакова, оба православные. Таинство крещения совершил священник Афанасий Васильевский с причтом».

Так значилось в метрической книге Преображенской церкви села Спасо-Рославля Болховского уезда.

Новорождённый Алексей — это мой отец. Я тоже Алексей. Имя это стало нашим фамильным именем. Начиная с моего прадеда — отца бабушки — и кончая моим внучатым племянником, двадцатилетним лейтенантом, за шесть поколений не было пропущено ни одного Алексея.

Дедушка, Алексей Григорьевич, родился в год смерти Пушкина — 1837. После рождения моего отца он из Болховского уезда Орловской губернии переехал в Ливенский и служил священником в женском монастыре в селе Губаново, Никольское тож.

Зарплата у деда была маленькая, всего тридцать рублей в месяц, а детей много — десять человек. Пять сыновей и пять дочерей. Поэтому жили бедно,

в постоянной нужде. Младшие донашивали обноски старших, спали по несколько человек на одной кровати, чай с сахаром был только по праздникам. Но все выросли здоровыми и крепкими. Четыре дочери вышли замуж за священников, два сына — Василий и Егор — стали тоже священниками. Старшие дети, став на ноги, помогали младшим. Василий помог Павлу кончить Московскую духовную академию, Павел помогал моему отцу, а отец помог самой младшей, тётке Марусе, кончить Высшие женские курсы Герье в Москве — частное высшее учебное заведение для женщин (в государственные женщины не принимали).

Дети трогательно любили друг друга, свято уважали монастырскую строгую духовность дедушки и материнскую душевность доброй бабушки.

Бабушка Наталья Алексеевна была простая, очень добрая, с той тихой природной мудростью, которая свойственна большинству простых русских женщин.

Учился папа, как и все дети священников, на казённый счёт — мальчики учились сначала в духовном училище, а потом в духовной семинарии, девочки — в женских епархиальных училищах. Семинарии были специальными средними учебными заведениями, готовящими священников. В них преобладало преподавание «мёртвых» языков: греческого, латинского, церковно-славянского, — и богословских наук, в ущерб естественным наукам и математике, о которой отец всегда говорил с особенным уважением и сожалением.

Богословские науки и обучение церковным службам воспитывали у довольно значительной части семинаристов две положительные черты: неприязнь к обрядовой стороне религии и вообще к формализ-

му и философскую склонность к поискам нравственной истины. Некоторые из таких семинаристов становились атеистами и революционерами. Достаточно напомнить наиболее выдающихся: Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова.

Основная часть семинаристов, кончив семинарию, женились на епархиалках, получали приходы и служили священниками. Во множестве глухих сёл прошлого века священник был единственным образованным человеком, советником и духовным пастырем, которого называли почтительно батюшкой.

Части семинаристов удавалось получить высшее светское, преимущественно медицинское образование и переходить, таким образом, из второго духовного сословия, как говорилось, «колокольных дворян», в разряд «разночинцев», вместе с выходцами из крестьян и мещан-ремесленников и торговцев, как А. П. Чехов.

Мой отец и все его четыре брата учились в Орловской духовной семинарии. Вместе с ними учились отец писателя Михаила Булгакова Афанасий Иванович и философ Сергей Николаевич Булгаков — сын ливенского кладбищенского священника.

Отец до двадцати пяти лет не знал вкуса вина и не курил. Подружился с какими-то передовыми юношами, которые доставали ему прогрессивную в то время литературу, и усердно занимался самообразованием. Помню, он называл «Историю цивилизации в Англии» Бокля.

Папа очень любил технику (он произносил на иностранный лад «тэхника»), с горечью вспоминал о том, что ему были закрыты дороги в технические институты и университеты. Помимо плохой общеобразовательной подготовки, было ещё препятствие —

процентная норма. Семинаристов, как и евреев, принимали в «хорошие» вузы не свыше трёх процентов. Без процентной нормы принимали в Юрьевский (Дерптский) университет на медфак и в Харьковский ветеринарный институт. Отец решил поступать в ветеринарный.

Но как быть, где достать денег на дорогу и устройство? И у отца блеснула смелая мысль: попросить у соседнего помещика Эллера. Сам удивляясь своей смелости, отец написал записку с просьбой помочь ему деньгами и послал её с мальчиком-пастухом. И какова же была его радость, когда пастух принёс конверт, в котором было двадцать пять рублей. Так отец стал студентом Харьковского ветеринарного института.

В институте отец подружился со студентами-демократами. Он рассказывал, что было довольно резкое классовое расслоение между богатыми студентами — «белоподкладочниками» и бедными — «разночинцами». В революционные группировки отец не входил, но его использовали для распространения, передачи и хранения подпольной литературы. Кем эти операции проводились, он точно не знал, так как из конспирации всё делалось через третьи руки. На мой детский послереволюционный вопрос, почему он не стал революционером, говорил, что очень любил свою маму и не хотел нанести ей такой тяжёлый удар, как аресты и презрение общества.

В 1898 году в Харькове и по всей России вспыхнули крупные студенческие беспорядки с уличными демонстрациями, сходками, речами. После революции выяснилось, что одним из главарей беспорядков был студент Харьковского технологического института, будущий большевик Л.Б.Красин. Но тогда никто не знал, кем станет этот «белоподкладочник».

Отец принимал активное участие в беспорядках, произносил речи с балкона института перед демонстрацией на улице.

Когда движение было подавлено, отец в числе других зачинщиков был исключён из института и разжалован в солдаты. Но медкомиссия, может быть из либерализма, признала отца негодным к несению военной службы, то есть «белобилетчиком по чистой» из-за узкогрудости.

Около года отец жил у родителей, занимаясь переплётным делом. У него был полный набор инструментов, которыми потом овладел и я, и отец не унывал: «Не дадут кончить институт — буду работать переплётчиком, а в попы не пойду».

Потом, когда волна репрессий схлынула, он, как и Ленин несколькими годами раньше, подал ходатайство на имя министра просвещения, и ему разрешили кончить институт.

Учился он на стипендию двадцать пять рублей в месяц. Хватало на комнату и скудную еду.

По окончании института в 1903 году отца распределили в Закавказский край пунктовым врачом пограничного с Персией ветеринарного участка для мероприятий против заноса эпидемий.

Там, на берегу реки Аракс, прожил он три года и привёз много впечатлений, которые долго пленяли моё детское воображение своей сказочностью.

Это были очень глухие места. Почта приходила через три месяца. У отца был переводчик, его ровесник кавказец Магомет, с которым он подружился. Магомет ходил в черкеске с газырями, с огромным кинжалом за поясом. Пояс был отделан чеканным серебром. Границу они объезжали на лошадях, верхом, вооружённые. Часто попадали под обстрелы. Иногда в особо опасных ме-

стах их сопровождали конные стражники. Отец много рассказывал нам, детям, о красоте Кавказа, о быте и обычаях горцев, о фатализме магометан: «чему быть, того не миновать». Восхищался честностью, смелостью горцев, строгим нравом, уважением к старшим.

Однажды, когда я развалился на кушетке в его кабинете, вошёл папа. Он посмотрел на меня недовольно и сказал:

— А вот на Кавказе, когда отец входит, сын встаёт.

Вернувшись из Закавказья, отец поступил земским ветеринарным врачом в село Волово.

Село Волово в детстве мне казалось скучным, потому что в нём не было ни реки, ни леса, как, например, в соседнем селе Борки с большим лесом на берегу реки Олыми. Но только покинув родное гнездо, я понял, какую благодать нам устроил отец в своём ветучастке с его уютным садом и в каком раздолье промелькнуло наше детство. Отец же выбрал Волово, потому что в тридцати верстах, в селе Губаново, жили его родители и сёстры, в пятидесяти верстах, в Ливнах, — брат Павел и сестра Мария, а в селе Бараново, между Ливнами и Губаново, жила сестра Катя.

Из Закавказья отец привёз великолепные ковры и перемёты, в которых горцы возят вещи, перекинув их на спину лошади. Из них мама, распоров их, поделала коврики. Один ковёр был священный — служил для совершения намаза, то есть молитв.

А ещё папа привёз две трости — себе и брату Павлу — из какого-то необыкновенно крепкого, как металл, чёрного дерева, и всегда ходил со своей тросточкой. Делая шаг вперёд, он выбрасывал её вперёд, иногда слегка задерживал, как будто искал место, где поставить на землю. Чувствовалось, что ей владеет человек уравновешенный, спокойный, уверенный.

Папа любил всё простое, скромное, но стильное, красивое. Ссылался на поговорку: «Я не настолько богат, чтобы покупать дешёвые вещи». Одевался очень скромно. Чаще всего ходил в чёрных брюках из тонкого сукна, заправленных в сапоги с напуском, в косоворотке навывпуск, по праздникам — в чесучовой. На совещание в Ливны ездил в костюме с жилетом. За всю жизнь у него было только два костюма — чёрный и серый.

Получив по окончании института командировочные, он купил дорогие, за двадцать пять рублей, часы лучшей швейцарской фирмы «Мозер» в чёрном воронёном корпусе, с чёрным циферблатом, с золотыми римскими цифрами и золотыми стрелками. И цепочка к ним была простая: звено — воронёная сталь, звено — золото. Любимым цветом папы был чёрный.

Он любил классическую музыку и народные песни. Его любимая:

*Среди долины ровныя
На гладкой высоте
Цветёт, растёт высокий дуб
В могучей красоте.
Высокий дуб, развесистый,
Один у всех в глазах...*

Я слушал, и мне с грустью казалось, что это папа поёт про себя.

Он имел располагающую к себе внешность. Совершенно чёрные волосы, густые чёрные брови, серые глаза и небольшую бородку с раздвоением. За внешностью своей следил. Тщательно, стоя перед зеркалом, подстригал никогда не бритую бороду, расчёсывал волосы, а я в это время, как в ворота,

пробирался у него между ног, за что получал соответствующие замечания.

Я всегда завидовал безупречной воспитанности отца, его выдержке, такту, доброжелательной вежливости. С просьбой он обращался ласково: «Будьте добреньки». Он был всегда хорошо настроен, приветлив, внимателен. Никогда никого не осуждал, ни на что не жаловался.

Был очень аккуратен, во всех делах соблюдал систему и порядок. Все его вещи многими годами лежали на одних и тех же их местах. Не любил торопливости и недоделок. Учил нас в играх ли или в делах всё доводить до конца: «Взялся за гуж, не говори, что не дюж», «Конец — делу венец».

Дело было у отца всегда на первом месте. По делам он судил о человеке. Восхищался мастерами своего дела: «У него золотые руки» или: «Он даровитый человек». Не любил пустословия, часто напоминал басню о двух бочках, катящихся с горы — грохочущей порожней и тихой наполненной.

У отца был очень мягкий, но чуждый сентиментальности характер в отношениях с людьми — и очень твёрдый и решительный в принципиальных вопросах.

Я помню, как один раз, слушая чей-то рассказ, он сказал: «Такого негодяя я расстрелял бы собственной рукой». Невольно мне вспомнился Алёша Карамазов.

Он был смел. К маминому ужасу часто делал операции без перчаток, здоровался с тифозными больными за руку, ездил в половодье через глубокие овраги к больным. На наши страхи и опасения отец немногословно отвечал поговорками: «Чему быть, того не миновать», «Так на роду написано». Я, мальчик, возражал:

— Ну как же так? Вот мне надо идти в сад, а я возьму и не пойду...

Но папа смеялся:

— Не пойдёшь — значит, не судьба идти. Судьбу не обманешь.

И я терялся в недоумении.

Маме при опасных обстоятельствах он говорил: «Не умирай раньше смерти». А когда я жаловался на живот, озадачивал: «А ты не прислушивайся». И боль успокаивалась.

Взгляды отца были самобытные, очень определённые и устойчивые, но он не любил говорить о них. Впечатление о них складывалось от его отношения к жизненным обстоятельствам, главным образом пословицами на латинском и русском языках, чаще всего успокаивающими: «Что Бог ни делает — всё к лучшему», «Перемелется — мука будет», «Беда деньгу родит», «Бережёного и Бог бережёт», «На Бога надейся, а сам не плошай».

Нередко он приводил изречения из Евангелия, о котором я уже знал по маминым урокам Закона Божия: чаще всего — «Не судите, да не судимы будете», «В чужом глазу сучок видите, а в своём бревна не замечаете» и неотразимое: «Кто из вас без греха, пусть первым бросит камень».

Как-то в детстве я его спросил: «Папа, а что такое Бог?» Помолчав, он ответил: «Бог — это совесть». А в загробную жизнь не верил.

Не признавал ни кумиров, ни догм. Любил Толстого и во многом разделял его взгляды, но не принимал толстовства с его ханжеством и лицемерием. Курил, в компании не отказывался выпить, категорически ограничивая свою норму. Накрывал рюмку ладонью, непреклонно возражая: «Мне довольно».

Непримиримо осуждал формализм, казёнщину, вкладывая убийственное презрение в слово «чиновник».

Рискуя потерять службу, отец подал прошение с отказом от чинов и званий, а дядя Паша к революции уже был действительным статским советником. Он служил преподавателем и ректором Ливенского духовного училища³.

Отец был типичным работником земской интеллигенции, безкорыстно и самоотверженно служившей народу по глухим сёлам необъятной России. Основной и наиболее обременённой частью земской интеллигенции были врачи. Их труд был самым тяжёлым, самым грязным, но и самым нужным и самым благородным.

Земскими врачами работали А. П. Чехов, В. В. Вересаев, М. А. Булгаков.

Отец лечил не людей, а «братьев наших меньших». В детстве я его спрашивал:

— Пап, а у животных есть ум?

И он отвечал:

— Конечно, есть, только они не умеют говорить. Поэтому лечить их труднее, чем людей. Они ни на что не жалуются, и нужно уметь понимать их без слова.

И отец понимал их беды и боли, как понимал самый близкий мне, самый нежный и чуткий поэт Сергей Есенин: и корову, которая «думает грустную ду-

³ Чины ввёл Пётр I «Табелью о рангах», установившей иерархию всех должностей в армии, на флоте и гражданской службе. Все должности делились на 14 рангов (классов), или чинов. Так, например, чин действительного статского советника соответствовал генерал-майору. Чины от полковника и выше присваивались лично Царем. Уничтоженная в 1917 году «Табель о рангах» была негласно восстановлена Сталиным в партии в виде «номенклатуры» от райкома до генсека.

му о белоногом телке», и суку, когда она, потеряв «рыжих семерых щенят», «плелась, слизывая пот с боков», и лисицу, которая «на раздробленной ноге приковыляла», и «смешного дуралея», «красногривого жеребёнка».

Поэтому невзгоды и беды братьев больших были понятны отцу без скупых, горьких и немых человеческих слов. Может быть, поэтому у него было что-то своё особенное, доброе, мудрое и надёжное, будто он знал то, чего не знают другие.

С неистощим оптимизмом отец верил в настоящую, живую, человеческую Жизнь, хорошо понимая и принимая её извечное несовершенство, фатальную нераздельность добра и зла в душе человека и в обществе.

Секрет обаяния личности отца заключался в том, что он был из последнего поколения сложившегося на Руси многими веками духовного сословия.

Старые люди, вспоминая его, говорили, что это был «настоящий русский интеллигент и истинный христианин».

Мать моя была коренной жительницей села Волово, где она родилась в 1885 году. О своём отце, моём деде, мама рассказывала, что он был сиротой, сначала служил «мальчиком на побегушках» в магазинах — открывал и закрывал двери покупателям, помогая приказчикам. Потом сам стал приказчиком, пока не женился на богатой вдове — моей бабушке.

В сохранившемся его военном билете за номером 63, небольшой книжечке, значится: «Предъявитель билета младший писарь младшего разряда Матвей Мартынов Добродеев родился 1858 года, августа 5-го дня, холост, вероисповедания православного.

Орловской губернии Ливенского уезда Воловской волости село Волово. По призыву на службу обязан явиться на сборный пункт в г. Ливны через двое суток со времени объявления призыва в с. Волово. 11-го ноября 1883 года повенчался в Вознесенской церкви села Вышнее Долгое Ливенского уезда со вдовой Надеждой Васильевной Мясищевой 22-х лет». Подпись и круглая печать с силуэтом трёхглавой церкви. «Сего тысяча девятисотого (1900) года, августа 18-го волей Божией умер от рака в желудке и 21-го дня похоронен на приходском кладбище села Волово причтом церкви сего села... Села Волово священник Василий Цветаев. Псаломщик Николай Скуридин».

Бабушка родилась в 1861 году, её девичья фамилия — Морозова. Шестнадцати лет её выдали замуж за сорокалетнего управляющего богатыми имениями где-то южнее Волово. Замужем она ещё продолжала играть в куклы и привыкла курить, потому что у неё болели зубы. Мужа она вспоминала с большим уважением, рожала от него детей, но они все умирали в грудном возрасте. Муж рано умер, и она вышла замуж второй раз за моего деда.

Бабушка с любовью вспоминала свою жизнь с первым мужем, большие дубовые леса в его имении, за которыми начиналась степь — земли, которыми он управлял. Мне казалось, что ямы на воловском выгоне и дубовые кусты в овражке за нашим садом — остатки тех лесов.

Второго мужа, моего деда, она не любила. От него у неё были две дочери: мама 1885-го и тётя Люба 1887-го года рождения. Мама, наоборот, очень любила своего отца и оправдывала его, а свою мать не любила. Мама говорила, что он был хороший человек, но ему убийственно не везло в жизни. На прида-

ное, доставшееся бабушке от первого мужа, он купил двухэтажный дом с лавкой при нём и открыл свою торговлю. Но однажды, когда он только что привез из Москвы почти на все деньги красного товара, то есть мануфактуры, случился пожар, и всё сгорело. Ещё прежде он снял в аренду большой участок земли, засеял его капустой, но была засуха, и все затраты погибли. Так он снова стал простым приказчиком.

Умер дед сорока двух лет от рака, и бабушка осталась одна с двумя дочерьми — пятнадцати и тринадцати лет, без средств. Она открыла палатку на воловском базаре и стала торговать всем, чем только можно — от ниток, иголок, бус, лент до жамок (пряников), винных ягод (инжир) и каких-то заморских стручков, которых я больше никогда не видал.

Бабушка была очень гордая, с сильным характером и остра на язык, язвительно осуждая лицемерие и несправедливость. Когда кого-нибудь, попавшего на её зуб, пытались защищать, она скептически возражала:

— Что ты ещё буровишь?

А если завязывался спор, обрывала:

— Ты ему — стриженный, а он тебе — бритый.

С дочерьми была во враждебных отношениях, особенно с мамой, и в её присутствии обычно молчала. Только моего отца она искренне и трогательно уважала. Её голос неожиданно смягчался и теплел, когда он обращался к ней. Умерла она у нас в Москве восьмидесяти лет, похоронена была на кладбище при церкви Всех святых бывшего села Всехсвятское сзади станции метро «Сокол».

Мама, кончив три класса сельской школы, самостоятельно подготовилась, сдала экстерном в Ливнах экзаме́н и получила диплом: «На основании определения Святейшего Синода, подвергшись полному испыта-

нию в Правлении Ливенского Духовного Училища и выдержав оное удовлетворительно, удостоена звания учительницы церковно-приходской школы. В удостоверение чего дано ей сие свидетельство за надлежащим подписанием и с приложением печати Ливенского духовного училища. 1902 года, сентября».

Так мама в семнадцать лет стала самостоятельной, получив место в воловской церковно-приходской школе (ещё была земская). Первый её оклад был всего пять рублей в месяц. Настоятелем школы был старший воловский священник отец Василий, мама за него преподавала закон Божий. Учительницей мама прослужила непрерывно шесть лет. Она скромно работала, не стремилась замуж, и ей повезло.

Мама жила в школе, рядом с церковной караулкой, а через дорогу был дом отца дьякона Гончарова, в котором помещалась тогда ветлечебница.

После четырёх лет маминого преподавания в 1906 году в ветлечебнице поселился новый врач — мой отец.

Пока папа был холостой, у него была пожилая экономка, грузинка, которая готовила пищу и вела хозяйство. Мама жила напротив, и они с папой часто переглядывались в окна.

Потом у мамы был торжественный выпускной экзамен, на котором присутствовали сам попечитель церковно-приходских училищ отец Благочинный, наш священник отец Василий, и мама пригласила запиской папу.

Экзамен прошёл хорошо. Всем понравился первый ученик, мамина гордость — Ефремка Бачурин. Хоть он и был очень бедный, но на экзамен пришёл в новеньких чунях, новых чистых портянках из домотканой льняной холстины, до колена красиво переви-

тых крест-накрест верёвочками. Он хорошо и бойко прочитал наизусть:

*Что ты спишь, мужичок?
Ведь весна на дворе;
Ведь соседи твои
Работают давно.*

*Встань, проснись, подымись,
На себя погляди:
Что ты был? и что стал?
И что есть у тебя?*

*На гумне — ни снопа;
В закромах — ни зерна;
На дворе, по траве —
Хоть шаром покати.*

*Вспомни время своё:
Как катилось оно
По полям и лугам
Золотою рекой!*

*А теперь под окном
Ты с нуждою сидишь
И весь день на печи
Без просыпу лежишь.*

Всем понравилось, и ему дали похвальный лист. Папе экзамен тоже понравился, они с мамой подружились, а потом повенчались в церкви села Губаново, где жил дедушка.

Когда я вырос, мама рассказывала, что всю дорогу на пути в Губаново папа пел и что он был очень

нежный. А папа шутливо говорил при гостях: «Хотел остаться холостым на всю жизнь, да вот пожалел бедную учительницу».

Женившись, отец организовал матери самообразование: выписывал «Народный университет», авторами которого были видные учёные, журналы «Нива», «Вокруг света», «Журнал для хозяек», «Пробуждение», много книг. Настольной книгой мамы стал толстый том «Женщина — домашний врач» Анны Фишер-Дюкельман, перевод с немецкого. Ну и, конечно, — не менее толстая знаменитая кулинарная книга Елены Молоховец.

Мама стала превосходной хозяйкой, способной на все женские дела по хозяйству, кухне, шитью, всем видам рукоделия, вышивок крестом по канве и по грубой мешковине, гладью, ришелье и т.п. Сама общивала нас. Часто оказывала нам первую помощь в наших безчисленных детских болезнях вроде ангины, свинки или ложного крупа, и врачи всегда признавали её диагнозы правильными.

С помощью кучеров она устраивала в палисаднике великолепные цветники с фигурными клумбами из разных цветов — георгинов, пионов, астр, флоксов... В саду, рядом с липовой аллеей, посадила справа — жасмин, слева — розы. В зале у неё были комнатные цветы: филодендроны, фикусы и разные другие. Везде поддерживалась мучительная для детей чистота.

Став барыней, мама сохранила близкие отношения с деревенскими подругами. Она знала все их обычаи и приметы и говорила с ними на их простонародном воловском диалекте, очень похожем на говор казаков «Тихого Дона» — например, не «ещё», а «ишо», не «идёт», а «идётъ», не «куда», а «куды». Ме-

ня сначала удивляло это её двуязычие, а потом я и сам поневоле им заразился.

Её любили и часто приглашали на крестины — у неё было больше тридцати крестников и десятки бывших учеников.

Много энергии, инициативы и любви вкладывала мама во всё наше хозяйство, но наслаждаться результатами своего труда ни маме, ни, тем более, папе не оставалось времени. Они даже редко заходили в сад, разве только когда приезжали гости.

В августе 1908 года родилась дочь Зина, сероглазая и черноволосая, вся в папу. Мама, уже по моим воспоминаниям, была нежная мать. Она очень любила детей и хотела их много иметь. Постоянно тревожилась за нас.

Впрочем, она вообще была очень боязлива: боялась грозы, стада коров, купания в реке. Она это объясняла опытом: её, спасая, за волосы вытащили из воды, однажды чуть не забодала корова.

Отца она не только уважала, но и страстно любила, неизменно всю жизнь, в молодости изредка устраивала сцены ревности. Мне, маленькому, говорила: «Папа очень умный», и это мне запомнилось на всю жизнь.

Мама была очень религиозна, как все простые верующие прихожане. Но была и суеверна, верила всем народным приметам, которых знала множество, гаданию по руке и даже на картах. Когда папа уезжал в командировку, она гадала о трюфовом короле, задумчиво приговаривая: «Длинная дорога», «Казённый дом».

Я видел разницу уровней матери и отца, и на фоне последнего недостаточно ценил мать, поняв её достоинства слишком поздно, когда её уже не стало.



*Л. М. Булгакова с сыновьями.
1916 год*

Раннее

Моя жизнь началась посередине между двумя войнами: русско-японской и «империалистической», русско-германской, — в 1910 году.

Война 1905 года напоминала о себе не только изредка встречавшимися инвалидами с деревянной култышкой вместо ноги, а иногда с Георгиевским крестом на вылинявшей гимнастёрке, но больше — через песни. Знаменитым и не забытым до сих пор вальсом «На сопках Маньчжурии», песней «Варяг»:

*Врагу не сдаётся наш гордый «Варяг»,
Пощады никто не желает...*

И с недоверчивым удивлением я представлял себе, как по собственной воле тонут гордые матросы на палубе своего раненого корабля.

Тихой грустью щемила песня «Амурские волны»:

*Плещут холодные волны,
Бьются о берег морской.
Носятся чайки над морем,
Крики их полны тоской.*

Я любил петь эти песни, но не умел петь по-настоящему, пел молча, даже не шевеля губами, наслаждаясь их музыкой и словами без звука, не понимая, что в них звучала народная боль после войны с Японией. На душе от них оставался непонятный осадок, как тёмное облачко на ясном детском небе.

Первое, что помню сам, только очень отдалённо, — тот дом отца диакона, где родились мы с Зиночкой, смутно вижу очертания домика, ракиты справа и под ними подводы с больными животными, которых лечит папа.

Мне два года. Папа ведёт меня за руку на стройку новой ветлечебницы. Он ходит туда каждый день. Помню яркое впечатление от громады сооружения, дерева, стружек...

Дом строил подрядчик Мирон Петрович с рыжей окладистой бородой, солидный, степенный. Папа относился к нему с особым уважением. За ухом у него был большой красный карандаш, и я удивлялся, как он держится.

Мы переехали в новый дом. Зал совсем пустой — не обставлен мебелью. У меня в руках изумрудное гранёное яйцо. Я ползаю с ним по гладкому голому полу, который мне очень нравится.

В зале появилась ёлка — большая, вся в игрушках, с хлопушками, свечками и конфетами. Чужой дядя поставил ящик на трёх ногах — сфотографировать меня у ёлки. Я очень испугался, убежал в спальню, спрятался на кровати. Папа с мамой и дядя меня очень уговаривали, а я кричал, но они обещали, что дядя мне покажет

птичку, и уговорили меня подойти к ёлке, постоять и посмотреть, как покажется птичка в круглом стекле ящика. Птичка, правда, выскакивала, даже два раза.

На днях, роюсь в завалах старых фотографий, я обнаружил этот снимок. На фоне рождественской ёлки стоит маленький мальчик в бархатном костюмчике с кривыми ножками и пытливо смотрит вверх. На обратной стороне рукой мамы написано: «1912 г. 30 декабря (2 г. 10 месяцев было Лёле). Снято в уголке гостиной. Л. Булгакова».

Зиночку я не помню совсем. Мнится только непонятное: за длинными ногами взрослых в земле — глубокая яма. В яму опускают на полотенцах ящик, а в нём — Зиночка, бледная и в цветах. А меня никто не замечает.

Зину похоронили внутри церковной ограды под окнами маминой школы. Она умерла от скарлатины.

Папа молчит. Он никогда ни на что не жалуется. А мама часто плачет. Рассказывает, как один раз Зиночка играла — бегала за мной, и я ударился об угол шкафа, от чего у меня навсегда остался шрам на лбу, и мама очень жалеет, что наказала её. Я постоянно чувствую её горе.

В зале над диваном повесили портрет Зиночки в натуральную величину. Она сидит на ступеньках и смотрит на меня, а я — на неё, и мне неловко, как будто я в чём-то виноват.

Отец Василий дал маме для утешения книжечку в коричневой обложке под названием «Это Я,

не бойтесь!» Когда я научился читать, я узнал, что это проповедь священника, который старался утешить человека, переживающего тяжёлое горе. Это горе означает, что сам Бог посетил человека напомнить ему о Себе, и поэтому нельзя убиваться. Мама часто ходит в церковь и навещает Зиночку, кладёт ей на могилку цветы. Летом к поздней обедне она берёт с собой и меня. Антон отвозит нас на лошади, а домой мы приходим пешком.

Церковь — за белой кирпичной стеной, с железными коваными воротами, с двумя приделами. Мама говорит, что если на церковь посмотреть сверху, с неба, то она похожа на крест, направленный на восток.

Мы проходим ворота, по дорожке и на паперти сидят нищие и калеки: кто протягивает ладони, кто держит на коленях открытую шапку. Мама на ходу бросает им монетки, и мы входим в главную, очень высокую железную дверь храма. Справа внизу на стене — святой с кандалами на руках. Мама подводит меня к нему, крестится с поклоном и шепчет: «Целуй», — и за ней я целую его руку.

В церкви — прохлада, отрешающий полумрак, полно людей, все молча стоят и сосредоточенно молятся. Слышны только голоса церковной службы — священника или хора. Мы становимся со всеми, я вслед за мамой крещусь, делаю поклоны. Стоять утомительно, но становится легче, когда все опускаются на колени.

После службы мы идём на могилку Зиночки. Белая ограда, зелёный холмик с белым крестом и маленькой иконкой на нём. Мама любовно украшает могилку цветами и долго сидит на скамеечке внутри ограды.

Когда мне было три года, родился брат Володя, папа звал его Володячик.

Папа днём всегда, даже в воскресенье, бывает в лечебнице или уезжает к больным, а я остаюсь с мамой дома. В плохую погоду мы сидим за столом, мама что-нибудь шьёт или вышивает и рассказывает мне разные библейские истории. Она знает их множество, потому что преподавала в своей церковно-приходской школе Закон Божий. Многие из них я запомнил на всю жизнь. Запомнил и страшное слово: грех. Грех — это то, чего нельзя делать нигде и никогда, потому что накажет Бог.

К папе приехал инженер Ливенского земства Терский. Молодой, стройный, не похожий на других, в фуражке с бархатным околышем и золотыми молотками, он произвёл покоряющее впечатление уже своим необычным названием «инженер». Папа встречает его особенно внимательно, подолгу говорит с ним о чём-то серьёзном, интересном и непонятном.

Лето. В столовой у стола таинственно и заботливо возятся папа с мамой, укладывая какое-то бельё. Это они готовят очередную посылку по почте нуждающимся. Иногда они получают письма от совершенно незнакомых людей (откуда те узнали адрес?) с просьбой помочь деньгами или вещами. Чаще всего это студенты. Теперь они готовят посылку молодожёнам, ждущим ребёнка.

Игрушки папа привозит из Ливен. Любимые игрушки — оловянные солдатики, кубики и кирпичики, из которых интересно строить разные домики. Плохо только то, что их постоянно не хватает — они быстро куда-то теряются.

Ещё я люблю лошадь. Она из картона под названием «папье-маше», серая в яблоках, как наша Серка, только на подставке на колёсиках, но хвост — настоящий.

Самый любимый — плюшевый Мишка. У него руки и ноги вертятся, и голова тоже вертится. С ним удобно играть и приятно спать. Но постепенно он изнашивается, шерсть вытерлась, живот прохудился, и оттуда стала лезть солома. Так он исхудал, остарел совсем. Но тогда и мы уже стали большие и не очень горевали.

Кроме Мишки, у нас был серый кот. Настоящий, живой. Он любил сидеть на коленях и мурлыкать, когда его гладили по пушистой спинке. Но потом он умер. Мама говорит, от старости. Мы погоревали и похоронили его в палисаднике. Мама не разрешила ставить на могилке крест, и мы поставили палочку с красным флагом.

Остро врезался в память день мобилизации на войну летом 1914 года.

Мимо нашего дома по большаку в Ливны тянутся подводы, за ними толпится народ, голосят сплошным воем бабы, в тон им тоскуют гармошки мотивом, который с тех пор врезался мне в душу на всю жизнь, с которым всегда провожают солдат, с которым провожали и нас в августе сорок первого и который я никогда не могу слышать без комка в горле.

Это — гениальный марш «Прощание славянки».

Мама стоит на парадном крыльце. И вдруг из толпы новобранцев выбегает молодой парень, подбегает через калитку палисадника к маме, и они поцеловались. Потом он убегает догонять обоз, а я смотрю в неясном смущении — как это мама целовала чужого дядю?

Когда обоз стал удаляться, я перебежал в сад, и с его рва через акации продолжал смотреть на скрывающийся в клубах пыли обоз и народ. Мне тревожно и тоскливо.

Мама сказала, что чужой дядя — её ученик Миша Бачурин.

Папу командировали на три месяца на станцию Выгончи — принимать лошадей, мобилизованных на войну.

Мобилизовали и нашу правую пристяжную, рысак Звёздочку.

О войне я ещё знаю, что там — герой, донской казак Козьма Крючков. Он один сразу убил одиннадцать немцев, действуя пикой и саблей. Было много картинок не только в книжках, но даже на конфетных обёртках и на плитках шоколада: Козьма Крючков расправляется с немцами или просто красуется с лихо закрученными усами, фуражкой набекрень и с чубом под козырьком.

Лет с шести мама начала учить меня читать на церковнославянском языке с его сокращениями — титлами. Труднее было в занятиях русским языком заучивать наизусть таблицы слов с буквой «ять». До сих пор остались в памяти: «цвѣл», «приобрѣл». Папа ворчал: «Чего ты ему голову забиваешь всякой чепухой?» И оказался прав: скоро произошла революция, а с ней исчезли и буква «ять», и Закон Божий.

Всё лето мы с Володей ходим босиком. Пятки становятся твёрдыми, как подмётка.

Между берёзовой аллеей и вишнями — луг с буйной порослью высокой травы и множеством полевых цветов. В траве жужжат пчёлы, более мягким тоном — шмели. Летают бабочки: большие, красивые, в цветных пятнах — махаоны и скромные белые. Стрекоз

стрекозы, свиристят кузнечики. Анис, ромашки, львиный зев, белоголовник, васильки, цикорий, сергибус и много, много других неизвестных цветов. И над лужком стоит густой пряный их аромат, в котором явственно пронохивается чабрец, по-воловоки чобор.

Ползу по глубокой траншее, промятой мной в траве. Надо мной стена высокой травы, которая много выше меня, а где-то недалеко так же ползёт брат Володя или сын фельдшера Шура Смагин. Мы прячемся, чтобы неожиданно встретиться.

Я люблю лежать на траве, раскинув руки и ноги и плотно прижавшись спиной к земле, как бы слившись с ней в мировом пространстве в одно целое. Люблю наблюдать за плывущими над нами облаками, за причудливыми изменениями их формы, как они то тают, то сгущаются, прикрывая солнце, быстрые, похожие на клочья ваты внизу и почти неподвижные и прозрачные, редкие — высоко вверху.

Наши старшие ребята: мой друг Вася Смагин, сосед Петя Галактионов и двоюродный брат Паша, — кончив воловскую земскую школу, уехали в Ливны и поступили в гимназию. Зимой они приехали на рождественские каникулы в красивой серовато-синей форме, подпоясанные чёрными ремнями с серебряными пряжками с орлом и буквами «ЛГ». На фуражках тоже были гербы. Привезли с собой очень интересные учебники: помню там «Географию», «Восток и мифы» Иванова... Папа заинтересовался, долго их смотрел и сказал Паше:

— Какие вы счастливые, по каким хорошим книгам вас учат.

Не одобрил он только «Русскую историю» Пузицкого как верноподданническую.

Паша рассказывал, что через дорогу от их гимназии учатся реалисты, у них форма зелёная, а пряжки на ремнях медные с тремя буквами «ЛРУ», они тяжелее и драться ими ловчее, потому реалисты всегда побеждают гимназистов.

В середине войны в Волово появились военнопленные австрийцы. Австрийцами тогда называли всех солдат Австро-Венгерской монархии, среди которых могли быть и братья-славяне из Галиции, теперешней Западной Украины, и чехи, и мадьяры-венгры. Это было после знаменитого Брусиловского наступления, при котором был прорван фронт на Карпатах и взято полмиллиона пленных. Встретил их народ вполне дружелюбно и сочувственно: такой же солдат, как и наш, которых тоже было много в плену у немцев. Одного пленного, помоложе, прикрепили к медицинской больнице, другого — к нам.

Нашего «австрийца» все звали «пан». Он звал папу тоже «пан». Так у нас появилось два пана. Видимо, он был из рабочих — слесарь, а может быть, и механик. Они с папой сразу же приступили к постройке водопровода. На чердаке был поставлен огромный железный куб, из него вдоль всего коридора у потолка шла магистраль в кухню и к фельдшерам, к кранам. Воду качали ручным насосом. Всё это «пан» сделал быстро, просто и красиво, но пользоваться водопроводом пришлось мало — подошли революция и разруха.

Лето 1916 года было особенно интересным. У нас, как на даче, гостили ливенские Булгаковы. Павел Алексеевич, «брат Павел», как любовно называл его папа, был старше папы на десять лет и служил преподавателем Ливенского духовного училища. Препода-

вал географию, природоведение и другие естественные предметы, особенно любил краеведение. Каждое лето выезжал на каникулы с семьёй на дачу в окрестные сёла и изучал природу нашего уезда. С флягой на ремне он с детьми обходил все его уголки, изучал растения, минералы, геологическое строение нашего края. Составил записи, которые сгорели в Минске вместе со всей его ценной библиотекой в июне 1941 года.

К папе часто обращались за мудрым советом в трудных обстоятельствах или за утешением, когда случалось горе.

Софья Алексеевна Цветаева, вдова священника отца Василия, прочитала в газете, что её второй сын Василий, находившийся в действующей армии как ветеринарный врач, стоит в рубрике без вести пропавших. Папа, узнав, немедленно пошёл к ней вместе с мамой и со мной.

Софья Алексеевна, дородная, обычно уверенная в себе, сидела в мягком кресле посреди зала и громко рыдала. Домочадцы ходили на цыпочках, говорили шёпотом, как у постели тяжелобольного. Отец сел с ней рядом и спокойно и тихо что-то долго говорил ей. Она постепенно утихла.

Вася был похож на отца: такой же тихий, безответный. Вот он на карточке в офицерской форме, которая сидит на нём, как на вешалке, перетянутый портупеей с тяжёлым палахом. Все ветеринарные врачи служили в кавалерии.

Старший сын Николай, тоже ветеринар, был похож на мать: среднего роста, ярко-рыжий, с самодовольным видом и резким решительным голосом.

Позже выяснилось, что Вася не погиб, но мать его так и не увидела. После революции он каким-то пу-

тём оказался у белых — видимо, вместе с частью, где служил. А Николай был у красных. Воловские тётки говорили: «Вася — он мямля, в отца, вот и попал к белым, а Николай — в мать, не пропадёт».

Действительно, Вася так и пропал вместе с белыми, материнское сердце учуяло его судьбу.

В конце 1916 года к нам заехал прощаться по пути на фронт из отпуска Иван Степанович Болтёнков — муж нашего семейного друга, врача Лидии Михайловны. Молодой мужчина в солдатской шинели без знаков различия, с волевым благородным лицом. В передней, прощаясь с мамой, он показал на шинель:

— Это пушечное мясо.

Суеверная мама сказала потом, качая головой, что у него нехорошее предчувствие.

Иван Степанович был инженер-электрик и, как потом узнали, член партии РСДРП большевиков, за что он был лишен квалификации инженера, разжалован и отдан в рядовые.

Лидия Михайловна служила земским врачом в соседнем большом селе Борки Елецкого уезда. Это была передовая женщина того типа, которые «ходили в народ», шли в революцию — с гордым выражением волевого лица, плотно сжатыми губами.

В январе 1917 года Иван Степанович был убит.

Фронтной друг передал Лидии Михайловне всё, что осталось от её мужа: винтовку и каску. Она их повесила, как дорогую реликвию, на стену с портретом Ивана Степановича. Но однажды, уже после революции, когда мы с мамой навещали Лидию Михайловну, пришли два комиссара и отобрали винтовку. Мне было очень жалко Лидию Михайловну и больно смотреть на неё, когда она молча и строго сняла эту винтовку и отдала им.

4

Ветеринарный участок

Наш «Второй ветеринарный участок Ливенского уездного земства» объединял «казённый» дом с квартирами, ветлечебницу со службами и парк-сад позади них, представляя своего рода обособленную усадьбу.

Усадьба эта возникла так. В 1911 году отец выхлопотал в Земской управе разрешение и 10.000 рублей на постройку ветлечебницы. Он купил заброшенный участок около десятины (гектара) с садом и старыми строениями на слом, из которых основным был длиннейший дубовый сруб, который воловские остроловы прозвали «Титаником» в честь ошеломившей в то время весь мир трагической гибели трансатлантического лайнера, столкнувшегося с подводной частью айсберга. Участок не был помещичьей усадьбой. Скорее всего, при освобождении крестьян в 1861 году какой-нибудь крестьянин купил этот кусок земли в отдалении от села, насадил там сад и сделал постройки. Вспоминали, что там была «казёнка-монополка» — лавка для продажи водки, когда ввели на неё государственную монополию, — и трактир, обломки которого я ещё захватил. Похоже, что из «Титаника» хотели сделать гостиницу. Так или иначе, усадьба была неплохая, и отец построил на ней первоклассную ветле-

чебницу, которую признавали лучшей в ЦЧО — Центрально-Чернозёмной области, объединявшей в 1928–1932 годах Орловскую, Воронежскую, Курскую и Тамбовскую губернии.

Сохранилось письмо:

*«Ливенская уездная Земская управа.
Технический отдел.
24-го февраля 1912 г. № 1468, г. Ливны.
Господину Ветеринарному Врачу 2-го участка*

*Милостивый государь Алексей Алексеевич,
Настоящим Управа уполномочивает Вас заключать условия с подрядчиками и производить закупку материалов для постройки ветеринарной лечебницы в с. Волово, не выходя при этом за предел указанных Вам цен. Ввиду того, что подрядчики плотничных и каменных работ представили засвидетельствованные условия, Управа просит Вас не отказать принять участие в руководстве этими работами.*

*Председатель Управы
Инженер*

*А. Киреевский.
Терский.»*

Так была построена ветлечебница.

Если идти из села, то после двухэтажного кирпичного здания медбольницы и домика её врача, через небольшое поле, появлялся новый забор ветлечебницы с воротами и длинной коновязью перед ней для подвоза пациентов. За воротами было одноэтажное здание, деревянный сруб: «аптека». Вплотную к ней примыкало высокое кирпичное здание с большими окнами — «манеж» для приёма больных животных. Непосредственно за манежем стоял жилой дом, построенный из

бывшего «Титаника», с квартирами врача и фельдшеров. С обоих торцов дома шли галереи.

Дом и лечебницу строил один из лучших подрядчиков округа Мирон Петрович по прямым указаниям отца, который вложил в это дело весь свой вкус и опыт. Дом стоял на высоком фундаменте и был с очень высокими окнами из особого, совершенно чистого бемского стекла, по десять с каждой стороны. Наша квартира состояла из шести комнат: кухни, малой столовой, папиного кабинета, спальни, гостиной с большой столовой. Каждому фельдшеру полагалась кухня с русской печкой окнами во двор, как и наша кухня, и «горница» с окнами на большак. Все двери в коридор были двухстворчатые. Печи в комнатах были голландские, их топили антрацитом, лучшим сортом каменного угля, который привозили из недалёкой Юзовки.

Поперёк двора росли ясени, делившие его на две части — нашу и «лечебную». Посредине был кирпичный погреб с двумя половинами — нашей и фельдшерской. Из соседского сада через забор к нам свешивались ветви яблонь, слив и черёмухи, которыми дети воровато пользовались. На нашей стороне двора стояли наша конюшня и дубовый каретный сарай, а на участке лечебницы — конюшня-стационар для больных животных.

За конюшнями был сад — наша детская жизнь, наш мир, наша отрада. Чего только в нём не было!

Вокруг сада — ров, обсаженный большими раки-тами. Вдоль — аллея из лип, переходившая в берёзовую. В первой половине — яблони, большие груши, орешник, аллея из роз и жасмина, огородик и малинник, а у рва — сирень. Слева от берёзовой аллеи — луг богатейших трав и полевых цветов, много кустов

вишни, а справа — группа высоких, больше обхвата, серебристых тополей, между которыми — густая тополёвая поросль.

В саду жили и дятлы, и скворцы, и кукушки, и звонкие иволги.

Много времени, особенно в непогоду или в жару, я проводил в прохладном каретном сарае. Здесь стояли сани-розвальни и сани ковровые на подрезах — то есть на окованных полозьях, пролётка с крытым кожаным поднимающимся верхом, дрожки для небольших поездок.

Я любил каретный сарай. В нём так вкусно пахло густой смесью запахов от древесных стружек, дёгтя, кожи и ещё чего-то неуловимого.

Сторож Димитрий делал нам здесь разные игрушки. Сначала — жар-птиц с огромным хвостом-веером: вырезал из осины фигурку, расщеплял её заднюю часть, и получался веер хвоста. А позже, когда мы стали больше, делал нам кораблики, выдалбливая и вырезая особым круглым ножом, сделанным из обломка косы.

В отчёте Ливенского уездного земства за 1913 год я обнаружил годовой бюджет ветучастка: жалование ветврачу 1380 рублей, квартирных 120 рублей, двум фельдшерам по 675 рублей и разъездных по 170 рублей. В разъездные входили фураж и содержание кучера.

Несмотря на такую скромную зарплату, отец имел отличных лошадей для обслуживания своих поездок, корову, свиней, птицу. Нанимали кухарку, а иногда и горничную — няню. Жили свободно — оставаться, конечно, ни копейки не оставалось, но особенно не жались. Продукты брали в кредит у булочника «Видинеича» и в магазине Морозова. Потом периодически по заборной книжке рассчитывались.

Обстановка в доме была очень скромная. Кровати из железных прутьев, на которых лежали доски, а на досках два мочальных матраса. Одежда шерстяные и ватные стёганые. Гостей принимали хорошо.

Папа имел хорошее дорожное оборудование, необходимое для разъездов. Два комплекта тёплой одежды. Овчинный полушубок и огромная свита крестьянского сукна, которую надевали поверх пальто от дождя и холода. Зимнее пальто на добротном меху и енотовая шуба. Шубу надевали поверх полушубка или пальто, так что воротником можно было укрыться с головой, а руки прятали в рукава.

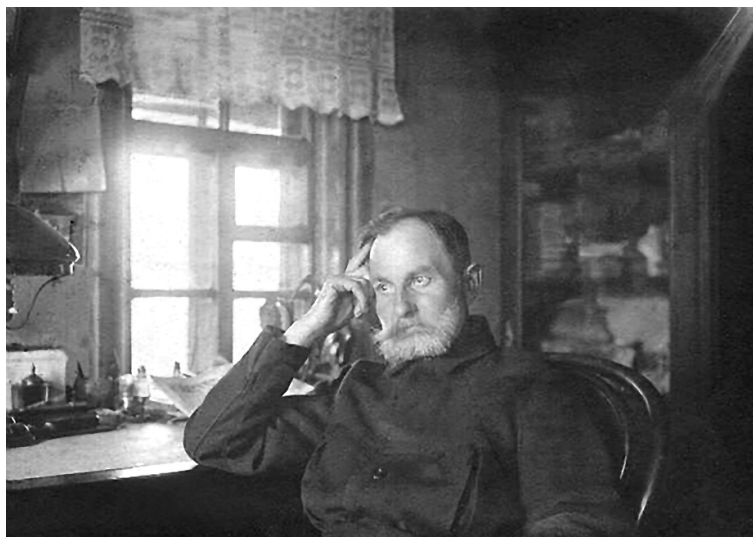
Папиной гордостью были лошади. Сначала у него была тройка рыжих. Но они были прямо бешеные. Он их продал, и вскоре они понесли и разбили нового хозяина насмерть. Вместо них он купил пару вороных: пристяжных Звёздочку и Птичку, — и коренную Серку, серую в яблоках. Вороные были рысаки чистой породы, хорошего экстерьера и резвые. Звёздочку мобилизовали, а Птичка и Серка жили у нас до старости.

Всё это он купил на свою зарплату, которую накопил за три года службы в Закавказье.

В кабинете отца стоял письменный стол под красное дерево. За этим столом я и пишу эти строки, поглядывая на фотографию отца, задумчиво сидящего, облокотившись на руку, за этим же столом.

В лечебнице принималось очень много больных животных, *особенно* по воскресеньям. На большаке выстраивались длинные очереди подвод, и во дворе было полно животных.

Самые важные и многочисленные папины пациенты — это лошади. Лошадь для крестьянина — самое главное. Безлошадный крестьянин — это значит



*А. А. Булгаков-старший, отец автора воспоминаний.
1931 год*

самый бедный мужичок-горемыка: ни вспахать поле, ни привезти сено, ни поехать в больницу. Поэтому на больных лошадей в лечебнике были самые хорошие, белые печатные бланки, на которых папа писал историю болезни.

На втором месте стояли коровы. Их записывали на розовых карточках. На втором-то они на втором, но для крестьян, особенно многодетных, корова была кормилицей. И если она умирала или её приходилось зарезать — чаще оттого, что она не могла растелиться, — то это было настоящее горе. Часто папе хозяева жаловались: «Лучше бы кто-нибудь из моих огольцов умер — голодным ртом было бы меньше, а чем теперь я буду кормить эту ораву?»

Поэтому к больным пациентам папа выезжал по вызову или посылал фельдшера в любое время дня и ночи, в любую погоду, в метель и весеннюю

распутицу. Нередко лошадь, провалившуюся в полный снега овраг, который скрывал талую воду, приходилось вытягивать с подводой вожжами.

На последнем месте стояли небольшие пациенты — мелкий рогатый скот, то есть овцы и свиньи. Тех и других водили у нас много, и редкий крестьянин, даже бедный, не имел их. Этих пациентов записывали на самых некрасивых, тёмно-синих карточках.

Лечебница приносила немало тревог. Папа был спокойный, никогда не жаловался, а мама становилась озабоченной, грустной и шептала нам убитым голосом:

— У папы — беда. Эпидемия.

Самая страшная, смертельная была сибирская язва. От неё лошади сразу дохли, она переходила на людей, а бедному мужику тяжело было расставаться со скотиной, и он норовил тайком содрать шкуру — хоть с мёртвой что-нибудь получить. Нужно было следить, чтобы лошадей хоронили на особо отведённом кладбище, конюшни поливали вонючей карболкой, чтобы остановить распространение эпидемии, и много других забот.

Ещё страшней был сап. Одна капля из ноздрей больной лошади была смертельна. Так внезапно умер лучший папин друг, ливенский ветврач Сергей Карлович Россини. К счастью, сап бывал очень редко.

А у коров был свой враг — бруцеллёз. Появившись, он быстро распространялся от деревни к деревне, как заразная волна. Молоко коровы, больной бруцеллёзом, было смертельно опасно человеку. Чтобы остановить этот вал, пропахивали глубокие и широкие каналы.

Но, к счастью, эти грозные нашествия бацилл случались не так уж часто, за их появлением строго следили и решительно и умело с ними боролись.

Больше всего хлопот было со свиньями. У них была острозаразная болезнь, тоже опасная для человека — рожа. От рожи свиньи краснели, пухли и издыхали. Наука разработала против рожи вакцину. Если её привить свинье своевременно, то свинья уже не могла заболеть. Но, когда папа в 1906 году принял ветлечебницу, крестьяне не верили науке и боялись делать прививки свиньям. И папа много ездил по деревням, собирал сходки и разъяснял, уговаривал и постепенно добился того, что крестьяне стали разрешать делать прививки. Уже на моей памяти каждой весной начиналась кампания поголовной прививки от рожи. В лечебнице оставался один сторож Антон, потом Егор, а папа и оба фельдшера, пока они у нас были, а после революции один, на рассвете разъезжались по деревням делать прививки. В деревнях в назначенные дни собирали всех свиней в одно стадо, и папа колол их шприцем одну за одной сотни и даже тысячи в день. И возвращался домой к позднему летнему закату. Зато заболевание свиней рожей прекратилось, и если где возникало, его немедленно обезвреживали.

Больше всего папа любил лошадей, умел с ними разговаривать посвистыванием и особыми, успокаивающими интонациями голоса. Он их понимал по движениям ушей. Уши у лошади могут поворачиваться в разные стороны. Если одно ухо повёрнуто назад, значит, лошадь спрашивает седока, а если оба направлены вперёд — например, когда она едет под гору, — значит, она насторожилась к опасности. От испуга лошадь храпит, а если ей, запряжённой, перед воротами надоело ждать, когда наконец соберутся и усядутся хозяева, она начинает бить землю копытом. Я тоже стал понимать лошадиный язык и даже посвистывать успокаивающе, когда спускались под крутую гору. Папа

считал, что лошади очень умные, умнее даже собак. Если, например, зимой в метель, когда позёмка занесёт все дороги и путник заблудится, отпустить вожжи, то лошадь сама найдёт дорогу домой.

Очень редко к папе обращались за помощью какой-нибудь собаке, ещё реже — кошке. Но папа этих пациентов любил меньше. Он говорил, что дворовые собаки и кошки сами лечатся травами, а про комнатных собачек говорил, что это барская блажь.

Вся жизнь ветлечебницы происходила в лечебной половине нашего двора, и нам, детям, не разрешали туда ходить, когда там были подводы с пациентами, но все события ветеринарной жизни были возле нас. А иногда, очень редко, папа сам звал меня посмотреть.

Один раз летом, уже к вечеру, привели больного жеребёнка. Он был красивый, гнедой с чёрной гривой, но, видно, был очень резвый, потому что умудрился разорвать себе кожу над одним глазом — так, что глаз мог выскочить. Папа сказал:

— Пойдём, посмотри, как я буду жеребёнку глаз зашивать.

Жеребёнка положили в манеже на песчаный пол, он смиренно лежал и не стонал, видно, понимал, что его лечат, а папа гладил его по шее, ласково приговаривая:

— Ну, потерпи немного, дурачёчек.

И кривой иглой сделал ему несколько швов прямо над самым глазом.

А ещё раз, тоже летом и тоже к вечеру, когда стада коров уже возвращаются домой, папа опять позвал меня и маму. На этот раз пациенткой была корова. Она вывихнула себе один рог, и он торчал вбок. Её тоже привели в манеж, положили на пол, хозяину ска-

зали держать её, а папа сам особой пилой начал отпиливать свёрнутый рог. Корова лежала спокойно, не мычала, и только из глаз медленно текли ручейком по шерсти щеки её слёзы, и было особенно тяжело на неё смотреть, потому что она плакала молча.

Когда я стал уже почти совсем большим, папа иногда звал меня помочь ему вместо фельдшера. Наши фельдшера после революции уехали в свои родные деревни получать земельные наделы. Раз папа привёл на нашу половину двора лошадь, которая сильно хромила. На ноге, чуть выше сустава, была забинтована большая рана. Папа привязал её к вязу, который посадил против крыльца и под которым, когда он вырос, мы иногда в летние вечера пили чай, и сказал мне:

— Принеси ведро воды и корец (ковш).

Когда я принёс, он велел холодной водой поливать рану, не давая ей согреться (льда в ветлечебнице не было). Полить, подождать и опять полить. С большим возмущением, сквозившем в его всегда спокойном, уравновешенном голосе, папа рассказал, что сосед хозяина лошади бросил в неё лопату за то, что она забрела на его поле. Лопата перерезала сухожилия, которые очень трудно заживают в этом месте. И я полдня сидел около лошади, поливая рану, то и дело ходил за водой. Потратив много времени и труда, ногу папа залечил.

Он непримиримо осуждал мужицкую корысть, способную на любую жестокость. Потом я узнал в этой корысти «мелкобуржуазную идеологию мелкого собственника, из которого ежесекундно рождаются капиталисты».

Два фельдшера, которые служили в нашей ветлечебнице до разрухи, — это были Фёдор Андреевич Бахтин и Иван Парфёнович Смагин. Фёдор Андрее-

вич был довольно плотным хмурым мужчиной с рыжей бородой. У него были жена брюнетка и маленькая дочь Нина. Иван Парфёнович жил с женой Марией Егоровной и двумя сыновьями, Шурой и Васей. Иван Парфёнович был скромный, вежливый, без особых примет, если не считать усов, впрочем, довольно обыкновенных. Часто по утрам, когда мы ещё пили чай, он осторожно приоткрывал дверь на кухню, просовывал голову и просящим голосом спрашивал:

— Алексей Алексеевич, ключики можно?

Ключи от лечебницы папа брал к себе на случай ночного вызова.

Папа, который любил способных, даровитых, как он говорил, людей и любил в людях находить таланты, про Ивана Парфёновича говорил:

— Он прекрасный акушер.

Территория, которую обслуживал папин ветучасток, была огромной, примерно сорок на сорок километров, на весь Ливенский уезд таких было всего два, скота было очень много. Никакое рабочее время и выходные, естественно, не соблюдались. Отпуска отец не брал ни разу за двадцать пять лет. Фельдшера брали — ездили на родину. В любое время суток вызывали на роды или на несчастный случай, и никогда никто не отказывался.

Нередко зимней ночью будил осторожный, но настойчивый стук в окно с улицы. Прислушиваемся. Мама испуганным голосом говорит полувопросительно:

— Это за тобой.

Папа наскоро одевается, уходит. Кажется, его нет очень долго. Приходит и говорит:

— Ничего не поделаешь, придётся ехать — корова не растелилась.

— Далеко?

В Панино, или Турчановку, или ещё в какую-нибудь деревню.

И он одевается по-настоящему и уходит совсем.

Я никогда не слышал, чтобы мой отец выказывал какое-либо недовольство своими фельдшерами и санитарями, не слышал, чтобы он с ними говорил недовольным тоном или тоном приказания. Но его все слушали без малейшего возражения.

Отец почти никогда не ругался и не сердился, но мог возмущаться, и даже сильно. Хозяев своих пациентов он часто разносил за то, что слишком долго не обращались в ветлечебницу и запускали болезнь. Особенно если начинали безуспешно лечить у коновалов. Коновалами называли крестьян, занятием которых была кастрация жеребцов, но попутно они лечили от всех болезней, преимущественно одним лекарством — медным купоросом.

Иногда и в нашем дворе слышался грозный голос отца. Это когда какой-нибудь мужичок для того, чтобы его скотину лучше полечили, решал поблагодарить доктора каким-нибудь «могарычом» вроде курочки. Тогда он заходил не со двора лечебницы, а в нашу калитку. И отец начинал его воспитывать. Произносил в сильных тонах длинную речь, в которой пытался разъяснить несчастному всю неблагоприятность таких подношений. Что папа ему кричал, мне было мало понятно, так же, наверно, как и посетителю, но от папиной строгости сжималось сердце, как будто я сам провинился, а мама, более близкая к мужикам, после заступалась за них:

— Чего ты на него напал, все же берут, откуда он знал, что нельзя, это он от чистого сердца...



*Священник Алексей Булгаков
с матушкой Наталией Алексеевной. Около 1910 г.*

Губаново

Торжественным событием в нашем детстве были семейные поездки в село Губаново, в тридцати километрах к западу от Волово. Губаново, Никольское тож, большое село с монастырём, было расположено в трёх верстах от платформы Монастырская, между станциями Студёное и Долгое железнодорожной ветки Мармыжи-Верховье.

В монастыре много лет служил по найму священником мой дед — отец Алексей. Он был единственным мужчиной в монастыре. Монастырь был основан в 1884 году в имении, пожертвованном помещицей Марией Охотниковой, и носил имя её святой — Марии Магдалины. В нём были игуменья, двенадцать монахинь и сто тридцать одна послушница.

Поездки в Губаново всей семьёй были большим радостным событием и сложным делом. Поэтому они совершались редко — обычно один раз в году летом.

Ещё накануне наш кучер — до революции Антон, потом Егор, а потом безсменный Димитрий — вывозил из каретного сарая пролётку — лёгкую тележку, в передок которой позади высокого кучерского сиденья вставлялось добавочное сиденье для нас, детей, так что мы ехали лицом к родителям, сидевшим на

главном сиденье, а сзади нас, над нашими головами, восседал кучер.

Кучер мыл пролётку, подмазывал колёса, поочередно снимая их, на вид вкусной, как сливочное масло, но чёрной колёсной мазью, которую брал из деревянного ящичка специальной лопаточкой.

В день отъезда с утра, после суетни укладывания вещей, одеваний, мы выходили к пролётке, которая стояла уже у крыльца с нашими конями — Серкой и Птичкой. Птичка нетерпеливо била копытами о землю и косилась левым глазом.

Мы усаживались, мама отдавала последние распоряжения, которым, казалось, не будет конца. Наконец, папа говорил: «Ну, с Богом!» Провожающий вынимал засов, открывал ворота, и мы выезжали на большак.

В Губаново ездили для сокращения пути полевыми дорогами мимо деревень. За тридцать вёрст пути проезжали только одно село Воловчик с небольшой церковью да задворки села Степановки.

Кругом, насколько хватало глаз, простирались бесконечные поля, которые украшали только разбросанные там и сям бедные ветряные мельницы (не такие гиганты, как у наших соседей) да — ещё реже — колокольни церквей.

*Край ты мой заброшенный,
Край ты мой, пустырь,
Сенокос некошенный,
Лес да монастырь.*

Вспоминая теперь этими есенинскими строками ту дорогу, я с горечью думаю: почему в Европе сохранились средневековые рыцарские замки, возвышаю-

щиеся на горах, вроде замка Карлштейн в Чехословакии, а у нас не сохранилось даже такое скромное украшение ландшафта, как колокольни?

В Воловчике мы переезжали огромный страшный овраг с очень мелким, но широким ручьём на дне. Левый берег оврага был весь изрезан и имел вид горного хребта из острых многослойных скал. Вверху — чернозём толщиной в метр-два, за ним — ослепительно белый слой мела, а может быть, кварца, ещё ниже — оранжево-жёлтый слой железистой породы. Овраг с каждым годом размывался весенними потоками воды и уже подступал к сараям и хатам.

Потом долго тянулись скучные поля. И вдруг дороге неожиданно пересекал железнодорожный путь возле платформы Монастырская. Папа говорил: «Ну вот, почти приехали», — и становилось легко.

Справа, поодаль, удивлял зеленовато-синей полосой монастырский лес, а за ним появлялось и село Губаново. Проехав просторный выгон с небольшой деревянной церковью малинового цвета, за окраиной села мы сворачивали на лужок дедушкиной усадьбы, примыкавшей к высокой кирпичной стене монастыря.

В ожидании встречи мы как-то утихали, настраивались, стеснялись. Подъезжая к дому, ещё издали видели, как кто-то выбегал, долго всматривался в нас, прикрыв глаза от солнца ладонью, вскрикивал:
— Да это Алёшенька!

Убегал в дом, и выходили все родные: бабушка Наталья Алексеевна, тётя Вера, тётя Маруся — все, кто там был в это время.

Папа обнимал и горячо целовал бабушку — маленькую, от старости сгорбленную старушку с очень добрым лицом.

— Мамочка! Да какая же вы стали! — говорил он с особенной непередаваемой трогательной нежностью.

Не помню, чтобы нас встречал дедушка. Вероятно, он бывал занят в монастыре, а позже — лежал уже больной. Он был среднего роста, худой, с большой седой бородой. Мы побаивались и его вида, и, в особенности, его сана. Он был строгий. К нему нужно было подходить по-особому — как к священнику, а не как к дедушке.

Прихожанин, встретив его, подходил с поклоном и говорил:

— Благослови, батюшка.

Дедушка осенял его крестным знамением, давал поцеловать серебряный наперсный крест и говорил: «Господь с тобой», — а верующий целовал ему руку.

Дедушка любил внуков и, благословив, насколько это получалось с детьми, говорил уже простым, мирским голосом:

— Ну, подойди ко мне, дитёнок! Какой большой ты стал!

Пока продолжался радостный шум встречи, наш кучер церемонно «здоровался» с работником и кухаркой дедушки, распрягал лошадей, водил их по лугу минут пятнадцать-двадцать, чтобы они остыли после быстрой езды и успокоилось их дыхание. Мы же все шли в дом.

Женщины оживлённо суетились, беспорядочно расспрашивая и рассказывая о своей жизни, ставили на стол деревенские разносолы. Когда все собирались к столу, дедушка становился лицом к иконам в святом углу и читал молитву «Отче наш», а мы все становились за ним и крестились. Папа, как и всегда в таких случаях, стоял вместе со всеми, тактично подчи-

няясь общему порядку, но не крестился, а дядя Паша крестился и даже тихо подпевал дедушке.

Семье дедушки, в особенности бабушке и моим тётям — жёнам священников — была свойственна та истинная смиренная доброта, которая, видимо, имела в своей основе глубокую и искреннюю религиозность. Все они были духовного звания — «колокольные дворяне» — и учились в семинариях и епархиальных училищах.

Впрочем, мама рассказывала, что у дедушки характер был довольно крутой, и он даже как-то раз «выгнал папу из дома палкой». За что, я не осмеливался спрашивать. Вероятно, за антирелигиозные взгляды. Но потом они помирились.

Дедушкин дом и двор располагались посредине его небольшой усадьбы. Одной её границей была высокая монастырская стена, другой — вытекавший из-под этой стены ручей, третьей — параллельная ему дорога, с которой мы въезжали на луг. Дом — деревянный сруб с печкой посредине и деревянными перегородками, примыкавшими к ней и делившими дом на четыре комнатки: одна побольше, «горница», а три — маленькие. Он был не больше крестьянской хаты средних размеров, но стоял на высоком фундаменте, был крыт железом и имел красивый шестиугольный балкон на входе. Из дома сени вели в людскую — кухню, однокомнатную хатёнку с русской печью. А сзади дома, как и во всех русских деревнях, был двор с конюшнями.

Ручей, вытекавший из-под монастырской стены, был в неглубоком овражке. На его берегах было много камней, необычных — шероховатых, ржавого цвета. Потом мы узнали, что это — железняк, ведь здесь были отроги ставшей потом знаменитой

Курской магнитной аномалии. Но мы об этом не знали и не видели в этих камнях ничего интересного.

Возле дома был небольшой фруктовый садик. Он был маленький, но очень насыщенный. В нём было несколько яблонь и две-три груши, но какие! Лучших сортов: бергамот и другие. Ещё — вишни, три-четыре деревца черёмухи. Всё это было богато вкусными плодами.

Против дома, через небольшой лужок-двор, возле монастырской стены стояла рига. В ней на сене или соломе расстилали какие-то попоны, и на них было приятно отдыхать после обеда, а в тёплую летнюю погоду разрешали даже ночевать и нам, детям. Как это было замечательно! Свежий воздух, наполненный ароматом сена, ржи!..

Рядом с ригой стоял амбар для хлеба, а с другой стороны была тропинка, которая вела к небольшой калитке в кирпичной стене. Через эту калитку дедушка ходил на службу в монастырь. У него был свой ключ от неё.

Однажды мы приехали к бабушке, видимо, в какой-то торжественный день, одновременно с семьёй дяди Паши, жившей в Ливнах, с тётей Прасковьей Алексеевной, слегка суровой на вид, и их детьми.

На ночь укладывались: женщины — на диванах, а мужчины — дядя с сыном Колей и мы с Володей — на полу, на разостланных одеялах. Мы с Колей лежали рядом и, спрятавшись под одеялом, со смехом дразнили друг друга, вопреки всем запретам дяди, до тех пор, пока он, потеряв терпение, не лёг между нами.

Утром нас нарядили в праздничные платья и повели в монастырь к обедне, которую служил дедушка, исповедаться у него и причаститься Святых Тайн.

Монастырская церковь была небольшая, но богаче приходской. По углам стояли покрытые плюшем скамеечки для уставших. В церкви были только монахини — в чёрных одеяниях, с головой, закрытой чёрным гладким убором.

К нам относились предупредительно: все знали, что мы дедушкины, а дедушку все очень уважали.

Дедушка, не узнаваемый в своей золотой ризе, служил.

Стройно пел женский хор. Потом началась исповедь. Исповедующиеся по очереди подходили к дедушке. Он стоял перед алтарём за аналоем. Подошла моя очередь, мама меня подтолкнула, я подошёл со страхом к аналою; дедушка, наклонившись ко мне, накрыл мою голову епитрахилью, так что получился надо мною домик, и стал спрашивать: «Папу, маму не слушал? Шалил? Богу молиться ленился?» — «Грешен, грешен», — твердил я с испугом. Дедушка, перекрестив, отпустил мне грехи, и я, облегчённый, вернулся на своё место.

Потом нас начали причащать. После этого Таинства мы с радостным чувством выполненного долга и преодолённых трудностей, с религиозным настроем, поощряемым матерями, возвращались в дедушкин дом. Дорогой нам показывали монастырь и то, как живут монашки.

Посередине монастыря были два пруда, верхний и нижний, разделённые плотиной. Кругом росли деревья и цветники, вроде парка или сада. На одной половине стояли церковь и службы: дом настоятельницы монастыря матери игуменьи и трапезная. Среди деревьев были разбросаны кельи монахинь. Малюсенькие, чистенькие домики — все в зелени. Внутри было уютно, по стенам висели пучки трав, распространявших

приятный аромат. В глубине на стене темнели лики икон и висела лампадка с небольшим огоньком. Было много цветников, и тропинки были тенистые, и во всём была особенная успокаивающая тишина.

Среди насельниц монастыря было немало молодых послушниц. Они вели себя скромно, говорили, не поднимая глаз, кротким тихим голосом.

Рядом за монастырской стеной, в лесу, был большой дом — монастырский приют. Дети учились, занимались ремёслами, делали на продажу великолепные красивые кораблики, как настоящие, но когда мы были там, не было готовых, и нам не купили. Во время войны с немцами в приюте жило много детей-беженцев.

Мы возвращались домой просветлённые, праздничные, завтракали и начинали заниматься делом — играть. Мы с Колей располагались под черёмухой и делали из глины разные фигурки. Но произошёл конфуз. Матери нам строго наказали, что после причащения, вкусив Кровь Христову, нельзя плевать. А нам нужно было приклеивать к фигуркам руки и ноги, а как это сделать, не поплевав? Тут же каждый спохватывался, испытывая искреннее раскаяние, давая зарок не повторять греха, но скоро это забывалось.

За несколько лет до смерти дедушка изъявил желание, чтобы ему заказали гроб — домовину, как он говорил. В некоторых губерниях России был такой обычай: старики сами заказывали себе гроб при жизни. Но на семью дедушки это произвело удручающее, даже мистическое впечатление. Одни родные рассоривались, другие смущались этим странным, как им казалось, капризом, отговаривали его, но он, как и всегда, был непреклонен.

Гроб поставили в амбар, и в нём хранили рожь, до дедушкиной смерти — около трёх лет.

На восемьдесят первом году жизни, в 1918 году, дедушка занемог, и об этом срочно сообщили нам телеграммой. Мы всей семьёй быстро собрались в любимую, но теперь уже грустную дорогу.

Была хорошая осенняя погода. Как и раньше, нас встретили на той же лужайке перед домом — бабушка и тётя Маруся. Тётя Вера умерла раньше.

Скоро мама сказала нам, детям, тревожным шёпотом, чтобы мы шли к дедушке — получать его прощальное благословение.

Дедушка лежал в полутьме, худой и седой. Мы подходили к нему по очереди. Позвав тихо: «Дитёнок», — он положил каждому в руку пятирублёвую золотую монету и, что-то тихо сказав, осенил нас крестным знаменем. Я с упавшей душой, испуганный и смущённый, поцеловал его старческую сухую жилистую руку.

Через несколько дней он умер, но на похороны поехал один папа. Рассказывал, что похороны, на которые съехалось много священников, были особо торжественными.

6

Золотые руки

Отец питал слабость ко всяким мастерам своего дела. С радостным восхищением он говорил про кого-нибудь:

— У него золотые руки.

Почему руки бывают золотые, я тогда не понимал, но воспринимал папино восхищение.

Все заказы папа старался отдавать только в золотые руки. Я знал, что руки золотые у ливенского сапожника Москвитина, шапошника Мотосова, воловского портного Селищева. Золотые руки, несомненно, были у Алексея Гармонистова и его слепого брата. Это были ещё молодые парни, которых прозвали Гармонистовы, потому что их отец делал знаменитые гармоники — ливенки.

Даже сам Есенин написал про ливенку — об уходящих на войну в 1914 году:

*По селу тропинкой кривенькой
В летний вечер голубой
Рекрута ходили с ливенкой
Разухабистой гурьбой.*

Ливенка, небольшая по размеру, отличается длинной — растягивается почти на полтора метра. Я тог-

да не знал, что ливенки — знаменитые, и как-то не верилось, что наш простой воловский парень делает самые настоящие гармоники.

Сыновья Гармонистовы ливенок не делали, в разруху было не до гармоник. Но слепой — вероятно, при помощи брата Алексея — делал балалайки, а Алексей был мастер на все руки: и столяр, и слесарь, и жестянщик. Я видел их балалайку. Она была совсем как настоящая, между клиньями задней стороны не было ни малейшего просвета.

Золотые руки были у воловского переплётчика Ивана Федотыча. Это был высокий сухой старик без бороды, очень благообразный. Говорил тихо, очень вежливо. Он делал великолепные переплёты, даже сафьяновые, с тиснёными золотом надписями на корешках.

Золотые руки были у печника Якова Ивановича Чернышёва, невысокого, крепко сложенного брутала лет сорока, с густыми чёрными усами, загнутыми вниз, как у Богдана Хмельницкого.

Был у нас и свой Мичурин — Макар Матвеевич. Он разводил и поставлял всем плодовые саженцы. Среднего роста, обходительный, он и лицом был похож на Мичурину, с которым был дружен.

Овощами славился Иван Афанасьевич из деревни Захаровка. С вечно непробритым лицом и охрипшим голосом, он разводил все виды овощей и поставлял их на базар, на ярмарку и отдельным гражданам. Он был нашим постоянным поставщиком.

Однажды папа приехал из Жерновца радостный — привёз верстак. Это был самый что ни на есть настоящий верстак, как в книге «Технология», с двумя деревянными винтами, сделанный по всем правилам науки Шалимовыми — знаменитыми специалистами по постройке ветряных мельниц. Но случилось

это, когда я уже готовился уезжать учиться в школу в Ливны, и мне, да и папе, удалось недолго понаслаждаться работой на таком удобном верстаке.

Про тех, кто ничего не умел делать хорошо, папа неодобрительно помалкивал, мама про них говорила: «Ни в дудочку, ни в сопелочку; неумеха», — а Дмитрий сокрушённо вздыхал: «Невладалый».

Лентяев у нас очень не любили. Обзывали их лодырями, лежебоками, бездельниками, дармоедами и другими неприятными словами.

Про некоторых людей папа говорил с особым уважением: «Он очень даровитый человек», — а я старался и не мог понять: что это за такой интересный человек?

Папа и сам любил делать что-нибудь руками. В юности он выпиливал лобзиком из тонких, как фанера, дощечек разные фигурные рамки и шкатулки, делал фейерверки, профессионально переплетал книги. При мне в редкое свободное от лечебницы время любил столярничать, делал из багета рамы для картин. Помню, как он проводил звонок от парадного крыльца красивым зелёным проводом на гвоздиках. В большую стеклянную банку поставил уголь с цинковой палочкой, залил водой с нашатырём и сказал, что это — элемент Лекланше.

За работой папа был сосредоточенно серьёзным и не любил моих вопросов, а их возникало особенно много.

Естественно, что и мы с детства втягивались в привлекательный мир труда самыми различными путями: из любопытства увидеть то, чего ещё не видели, из подражания взрослым, желая стать поскорее такими же всемогущими, как они, от необходимости помогать им и по принуждению.

Мама любила рукоделие и, когда я был ещё маленьким, научила меня вышивать стежками и крестиками по канве чёрной и красной бумагой (так называли куколки ниток). Правда, в глубине души я сомневался, не стыдно ли это занятие мальчику, но было так интересно смотреть, как из-под моих пальцев выстраивался стройный рисунок... За зиму я незаметно вышил стежками нашего плюшевого Мишку, а крестиками по канве — настоящее полотенце из нашего домотканого тонкого льняного полотна.

Позже мама приучила нас помогать по дому, вменив в обязанность стирать пыль со всей мебели влажной тряпкой, вытряхивать попонки и подметать пол.

Я уныло подчинялся, а Володя весело говорил:

— Сказано — сделано, будет исполнено.

И принимался за дело. Через полчаса замечаю: его уже нет, и где он, не знаю. Он был моложе меня, и ему прощалось.

Когда я стал читать, книги Жюль Верна и «Чудеса техники» Рюмина ввели меня в новый, захватывающе интересный мир.

Тогда никто не подозревал, к каким катастрофическим опасностям приведёт развитие техники через каких-нибудь пятьдесят лет. Но техника, встречавшаяся мне в детстве, была ещё очень бедной. Положение осложнялось разрухой. Ничего не продавалось, да и до революции инструмент был большей частью иностранного изготовления. Кусок жести от старой консервной банки казался драгоценностью.

Самым сложным механизмом, очаровавшим мою детскую душу, была мамина швейная машинка «Зингер». Она была очень красива. Стояла на коричневом деревянном основании, чёрная, лакированная, с золотым орнаментом и никелированными

блестящими крышками, похожая на шею с головой и иглой на носу.

Долго я смотрел, как мама крутила ручку, а машинка сама шила ровными стежками, и не понимал, как это получается.

Однажды, когда моя смелость созрела, в мамино отсутствие, замирая от страха, я решил приоткрыть на петлях её красиво изогнутую шею и взглянуть на таинственную изнанку. Я увидел странной формы рычаги, покрытые пылью и пахнущие маслом. Было очень интересно смотреть, как всё приходит в движение, когда поворачиваешь ручку, и челнок, в который мама закладывала шпульку с ниткой, бежит туда-сюда.

Я пытался срисовать механизм, но было тяжело держать при этом машинку открытой. Всё-таки я понял, как у неё получается шов.

Но больше всего меня тянуло что-нибудь сделать самому. Прежде всего, конечно, из дерева. Из груды старых досок, сваленных на дворе, мы, ребята, пытались соорудить свой дом. Расправляешь молотком ржавые кривые гвозди, промахнёшься — и по пальцу. Ноготь отчего-то чернеет, но если палец окунуть в холодную воду, то не очень больно. А потом постепенно вырастает новый ноготь, розовый.

Самый нужный инструмент деревенского мальчика — складной ножик. Без него — никуда, ничего, как без рук.

У папы был перочинный ножик с двумя лезвиями, стандартный для того времени, очень простой и красивый. Не помню, когда я начал им пользоваться, но хорошо помню, сколько горя он мне принёс, когда я его потерял.

Папа уехал в Орёл на совещание на несколько дней. В это время я брал ножик, держал в кармане, бе-

гал с ним по саду и по двору, а на другой день хватился — его нет! Обыскал все свои места, начиная с ящика моего детского письменного стола. Много раз ходил во всех направлениях по саду. Нигде нет! На душе стало нехорошо. Скоро папа приедет, а что я ему скажу? Было страшно подумать, как я огорчу папу.

И действительно, папа приехал и скоро спросил, где ножик. И снова я стал искать и ничего не мог сказать папе.

Прошло несколько дней. И вот у соседского Кольки Галактионова я увидел в руках папин ножик. Сомнений не было. Я растерянно промолчал, не зная, как поступить. Скоро, обнаружив в кармане дырку, я понял, что он выскочил у меня из кармана, а Колька нашёл в нашем саду, куда чужие ребята иногда тайком приходили. Не помню, почему я об этом не сказал папе. Папа бы ножик наверняка вырубил.

Скоро у меня завёлся самодельный ножик — «косной», то есть сделанный из старой косы. Делали их просто: деревянный брусочек надпиливали вдоль, верхнюю часть охватывали пояском из жести, вставляли лезвие, вырубленное кузнецом из косы, и закрепляли заклёпкой из гвоздя. Получался складной ножик. Наточенный на камне-голыше, он мог быть острым и точился лучше вечно тупых столовых ножей, совершенно непригодных к работе для ребят. Этот косной ножик я берёг как зеницу ока, буквально не выпуская из рук или ощупывая его в кармане.

С возрастом детские игры сменились более серьёзными увлечениями. Володя, изменив астрономии, увлёкся шахматами. Теперь он зачитывался дебютами, эндшпилями и тонкостями игры чемпионов. Он уговаривал меня играть с ним, но скоро стал постоянно обыгрывать меня, и я перестал играть в шахматы

на всю жизнь, а Володя, изучая партии Капабланки, часто говорил:

— Неужели я не буду чемпионом мира?

У меня же развивалось неуёмное стремление к ручным работам и ремёслам, на которые я тратил всё время, остававшееся от занятий.

Моими постоянными товарищами по играм и друзьями были соседи по двору Шура и Вася Смагины. Шура был мой ровесник, а Вася старше года на два, с ним было интереснее. Это был скромный мальчик, как и Шура, — в отца. Обычно он приходил к нам утром, и мы чем-нибудь занимались. Он учил меня немецкому языку, или мы что-нибудь читали.

Однажды, прочитав, как устроен электрический элемент, мы загорелись желанием сделать его. Достали где-то цинковую пластинку — от ведра, угольный электрод сделали, отщепив пластинку угля-антрацита — он был слоистый. Поставили электрод в банку, залили водой с солью в качестве электролита, но... Мы не знали, как узнать, есть ли ток или нет.

А ещё я прочитал, как сделать камеру-обскуру. Взял картонную коробку из-под папирос, вырезал одну стенку, заменил её промасленной бумагой, а в противоположной проткнул иголкой дырочку. Посмотрел на промасленную бумагу из коридора в комнату и увидел на ней изображение окна, стола и конюшни за окном: всё, как есть, только кверху ногами. Это было очень интересно. Получился фотоаппарат, только изображение на бумаге не сохранялось.

Я очень любил дерево — древесину разных пород, её красивую узорчатую поверхность, пряный запах стружки из-под рубанка (вспоминается «Кола Брюньон» Ромена Роллана). Любил тяжёлый дуб с его кисловатым запахом за то, что он хорошо колется, тяжё-

лую сосну за её стройную мелкоструйность, мягкую липу за то, что она приятно обрабатывается, ольху за её розовый цвет, берёзу, достаточно твёрдую и податливую. К раките был равнодушен — только ракета была у нас не редкостью. Ель не любил за её сучки и рыхлость.

Годам к десяти я уже неплохо владел топором и простым столярным инструментом.

Часто приходилось колоть дрова. Особенно трудно было, когда в разруху они кончились и начали выкорчёвывать на дрова дубовые пни с причудливо переплетёнными могучими корнями. Колоть дрова из корней было очень трудно. Приходилось пускаться в ход и топор, и колун, и клинья, чтобы корни превратились в то, что способно влезть в печь.

С инструментом было очень плохо. К счастью, у папы был скромный набор инструмента знаменитой французской марки «Полумесяц».

Глядя на папу и Димитрия, когда они что-нибудь мастерили в каретном сарае, я и сам усваивал столярные навыки. И решил сделать каркас для небольших детских дрожек. Это было не так просто. Нужно было сначала из огромных дубовых поленьев отколоть прямые брусья, обтесать их, обстругать сначала узким черновым рубанком шерхебелем, потом широким рубанком с двойной железкой, потом — и это было особенно приятно — длинным тяжёлым фуганком. Наконец, сделать шипы и пазы и собрать каркас. Я его собрал — и тут только сообразил, что он никому не нужен: колёс нет, некого запрягать, и играть некому — мы-то уже выросли.

Тогда я решил сделать из обрубка яблони настоящую деревянную ложку — не такую, как теперь сувенирные, а как нынешние металлические. Яблонева

древесина твёрдая, но хорошо обрабатывается, у неё красивый коричневато-розовый цвет. Грубо обтесав обрубок в заготовку, я сначала вырезал в ней середину. Получилось очень хорошо. Но, когда я начал топором обтёсывать заготовку снаружи, утончая её стенки и ручку, придерживая левой рукой за уже тонкий край, попал топором в край ладони. Папа засыпал рану главным в таких случаях средством — жёлтым порошком йодоформа, и она благополучно зажила, только шрам остался на всю жизнь.

Несколько странно, что наряду с благородным столярным делом меня влекли и более прозаические дела. Например, ремонт обуви. Я уже не говорю про шитьё подошв из верёвок для матерчатых туфель. Обувь я чинил, используя кривое шильце и мамины самые толстые иголки. Смолил суровые нитки, и получалась дратва. Кожу обуви и заплатки прокалывал шилом и шил двумя нитками с иголками навстречу друг другу. Особенно трудно было класть заплатки на мысках.

Наш фельдшер Тихон Константинович, увидев, как я шью, сказал с присущей ему насмешливой улыбкой:

- Ха! Разве сапожник шьёт с иголкой!
- А как же без иголки?
- Щетинкой.

Как именно шить, я не понял, но решил попробовать. Из-за отсутствия щетины, то есть свиного волоса, я воспользовался конским, от хвоста. Наколов дырку, петлёй просовывал туда перегнутой пополам конский волос и там, внутри ботинка, всовывал в волос, как в ушко иголки, дратву и вытягивал её наружу. И я перечинил не одну пару обуви, особенно много каблуков.

Папа придумал вмазать в нашу русскую печь бак с краном, чтобы была горячая вода без самовара. Бак заказали Алексею Гармонистову.

Как-то папа послал меня на Мокрец узнать, как у Алексея идут дела с баком. Алексей сидел в своей хате, на коленях у него лежал длинный ящик из кровельного железа, и он пропаяивал шов у передней крышки с краном. Остро и терпко пахло нашатырём и кислотой. С великолепным презрением на лице, свойственным хорошим мастерам, он не замечал меня, поглощённый пайкой. Шомполом с лопаточкой на конце он чистил шов, пока грелся паяльник, похожий на молоток, но из красной меди, потом тёр его о камушек, который он сквозь зубы назвал «сырой нашатырь», и опускал в баночку («травленая кислота», — процедил он).

Паяльник шипел, из баночки шёл едкий дым, после чего Алексей касался кончиком паяльника кусочков припоя — «третника», припой плавился, становился блестящим, как ртуть, растекался серебряной струйкой вдоль шва, смачивая железо, и застывал.

Это было так интересно, что я с тех пор заболел пайкой. Мне нужно паять. Но чем? Ведь ничего не продавалось. А нужно было иметь припой — сплав олова со свинцом, соляную кислоту с цинком, чтобы её «травить», то есть получить хлористый цинк, сырой нашатырь и, главное, паяльник из красной меди. Единственным источником красной меди могли быть пояски на неразорвавшихся снарядах, которых было достаточно. Но на трёхдюймовых снарядах они были тоненькие. Тем не менее, я приклепал к куску пояска ручку из толстой железной проволоки, и паяльник был готов. Вместо куска сырого нашатыря папа принёс из аптеки нашатырь порош-

ком, вроде соли. Он же где-то достал и кусочек третирика. Дело было за травленной кислотой. Кусочки цинка я достал от выброшенного ночного ведра с крышкой, выписанного по почте от «Мюр и Мерелиза», но соляной кислоты не было. У папы в аптеке в большой бутылки оставалась серная кислота. И я, начитавшись «Основ химии» Менделеева, решил сделать соляную кислоту сам.

«Основы химии» мне дал мамин школьный товарищ инженер-химик Александр Филимонович Грещев, сын давно умершего купца красным товаром. Теперь он преподавал в сельскохозяйственном техникуме, эвакуированном из Прибалтики в имение Хитрово, недалеко от Волово. И я целыми днями не выпускал из рук «Основы химии». Много было, конечно, непонятно, но какая-то таинственная сила влекла меня к книге, написанной непередаваемым, казалось бы неуклюжим, но привлекательным глубиной мысли языком. Из неё я узнал, что соляную кислоту можно получить из серной и обыкновенной соли, если перегнать пары, выделенные их смесью, через воду.

Папа принёс мне из своей аптеки колбу и стеклянные трубочки, и я организовал перегонку.

Сначала всё шло нормально. Из трубки в воду шёл жёлтый газ, и в стакане создавалась соляная кислота. Но вдруг почему-то пробка из колбы вылетела, и зал начал быстро наполняться удушливыми парами хлора. Прибежала мама, ничего не поняв, начала кричать на меня, но пришёл папа и заступился. Соляная кислота у меня появилась, и я получил возможность паять.

По неразумию я начал с очень трудного: дырок на эмалированных кастрюлях, чтобы помочь маме. Вся

довоенная посуда прохудилась, а новую не продавали. С большим трудом единственным старым папиным трёхгранным подпилком я очистил края дырки от эмали, заткнул тряпкой дырку снизу, чтобы припой не упал в неё, и начал паять. Но припой не приставал к её краям, его расплавленные капли скатывались, обжигая руки, паяльник остывал, не успевая прогреть пропаиваемое место. Папа держал кастрюльку, мама смотрела, я страшно раздражался, кричал на них обоих, но всё-таки запалял.

Скоро достали паяльник побольше, и я перепаял всю дырявую посуду. Мне нравилось упрямо добиваться результата, чего бы это ни стоило.

Потом мне захотелось паять твёрдым припоем, то есть латунью. Я уже знал, как это делается: нужно спаиваемые предметы связать тонкой железной проволокой, посыпать бурой, наложить кусочки латуни и сильно нагреть, пока латунь не расплавится. Латунь была из старых патронов, бурой из папиной аптеки морили «прусаков» — так у нас называли тараканов. Не было главного — высокого жара.

Я, конечно, видел кузнечные горны: как раздувается в них жар углей, как куют кузнецы, — только не понимал, почему, ударив по раскалённому железу, они дробно выстукивают по наковальне рядом с ним, потом опять по железу. (Так я удивлялся потом, зачем парикмахеры отставляют иногда ножницы и режут воздух частыми движениями, как будто опасаясь остановить руки). Было очень интересно смотреть, как красное железо, мягкое, как воск, меняет свою форму, особенно когда молотобойцы работают вдвоём, ударяя молотками по очереди.

И тут я решил сделать себе горн в русской печи на кухне, в опустевшей фельдшерской половине дома.

Вместо мехов сделал вентилятор по образцу ручной веялки. Но так как руками вертеть настолько быстро, чтобы был достаточный жар, не надеялся, да и руки занимать нельзя, я сделал ножной привод, используя станок-лобзик для выпиливания, который остался от моего крёстного Петра Александровича Истомина. Сложил из кирпича на загнетке печи горн, пристроил вентилятор и ножной привод к нему. С радостью смотрел, как раздуваются угли и в них нагревается железо добела.

Первой моей полезной пайкой был ремонт большого замка каретного сарая — в нём отломался язычок. Я согнул новый из железа, привязал его к основной детали проволочкой, посыпал бурой, положил кусочки латуни от патронов и сунул в горн. Это сооружение нагрелось докрасна и больше, пока, наконец, кусочки латуни не расплылись. Когда всё остыло, я увидел, что получилась настоящая хорошая пайка медью. Замок работал, а взрослые удивлялись, к моему удовольствию.

Не помню, где я видел работу жестянщика, но мне захотелось сделать дно в прохудившемся ведре — я видел, как это делается. Сделал дно — правда, не сложное на уторах, а простое. Потом сделал такую сложную вещь, как самоварная труба с коленом под тупым углом.

Зимой я освоил по-настоящему переплётное ремесло. У нашего знакомого Ивана Николаевича в затхлой кладовой, среди других книг, навалом лежали брошюры, очень хорошие, по разным ремёслам. Среди них — «Как переплестать книги». Я, конечно, её взял и начал осваивать. Мне сильно помогло то, что папа в молодости освоил переплётное дело и у него остался полный комплект инструмента, который валялся в нашем амбаре.

Первой жертвой я выбрал «Мартина Идена» из собрания сочинений любимого Джека Лондона. Я всё делал по правилам, «профессионально», как теперь говорят. Следующие книги я переплетал всё лучше, почти как Иван Фёдорович, а толстую «Химию» Реформатского сделал даже в сафьяновом переплёте и с мраморной бумагой, сохранившейся у папы.

После «Основ химии» Менделеева любимой моей книгой стала «Технология» Берсенева. Эта книга, напечатанная в прошлом веке, была папиной настольной книгой. Он ею пользовался, когда строил лечебницу. В ней очень увлекательно описывалось всё: от постройки фундаментов домов до того, как ковать гайки в кузнице. Ещё интереснее была книга «Чудеса техники» Рюмина. В ней была изложена богато иллюстрированная история развития всех отраслей техники. Эти книги, в особенности «Чудеса техники», оказались главными виновниками выбора моего жизненного пути, который поощрял и папа. Он говорил:

— Только, ради Бога, не будь врачом.

Теперь я удивляюсь, как у меня в те два самых плодотворных года на всё хватало времени. Вероятно, потому, что мы жили в уединении и не растрачивалось время на встречи, компании, на разные игры и спорт.

Я не любил спорт. Мне казалось скучным разбазаривать время на тренировки, преодолевая искусственно придуманные препятствия в то время, когда так много естественных трудностей в настоящих нужных делах. Какая-то неудержимая сила влекла меня что-то строить, создавать, начиная в детстве с домиков из кубиков и кирпичиков.

В любой работе увлекало нетерпение увидеть, что и как получится. Потом, став профессионалом-электромонтёром, я привык к однообразной работе, иногда очень тяжёлой, иногда лёгкой, но утомляющей своей монотонностью. Постепенно я начал понимать тайную и подлинную суть удовлетворения от труда, от самого процесса преодоления и покорения материала, каким бы он ни был, в труде ли рабочего, или инженера, или врача. «Сочинять стихи или складывать печь — одинаково работа», — говорил поэт Александр Блок. И высшую оценку работе каждого даёт его совесть, словами французской поговорки: «Я сделал всё, что мог — пусть другие делают лучше».

Окрестные помещики

Волово находилось в центре самых урожайных уездов чернозёмной России. Поэтому в этих местах было множество помещичьих имений, разбросанных среди сёл, деревень и деревушек. После Великой реформы 1861 года большинство помещиков разорилось, и их земли перешли или к зажиточным крестьянам, или к более счастливым крупноземельным помещикам. В окрестностях нашего села к последним относились имения брата царя — великого князя Сергея Александровича — возле села Борки, на реке Олыми; князей Голицыных возле Ливен; графов Шереметьевых; великих князей Грузинских — потомков царей Грузии; владельцев конных заводов Карцевых; усадьба и поместье Лачиновых и другие. Владения этих помещиков составляли тысячи десятин, им принадлежала основная часть земли. Самыми же крупными у нас были владения не помещиков, а два имения миллионера Полякова — буржуя, капиталиста или делового человека — как вам нравится.

Больше всего было небольших усадеб разорившихся дворян, которых постигла судьба, с такой силой описанная нашим земляком И. А. Буниным, принадлежавшим к их числу. У этих помещиков земли

почти не осталось. Сохранились только пришедшие в упадок усадьбы и небольшие участки земли в несколько десятков десятин. Почти все эти помещики существовали не на доход с земли, а на заработок от службы. К ним принадлежали Павлицевы, Истомины, Ветчинины, Черемисины, Марковы, Барановы.

Помещики первой категории, «элита», сами почти никогда не бывали в своих имениях — в них жили их управляющие, переводившие доходы на счета своих хозяев. Тех же из них, которые иногда появлялись, отец называл «зубрами», а они считали его «красным». Когда отцу приходилось бывать по делам службы в таких имениях, он даже не встречался с их хозяевами — отправлялся сразу на конный или скотный двор.

Помещики разорившейся категории часто бывали в нашем селе по разным делам и входили в его «общество». Видимо, это способствовало развитию торговли разными деликатесами, которыми они интересовались, а также и высокому уровню бытового обслуживания.

Многие из них были нашими постоянными знакомыми. Других, например, семью генерала Павлицева, мы знали, хотя он сам у нас никогда не был. Иногда я видел в окно, как его сын-кадет в красной форменной фуражке проносился по большаку верхом на лошади на почту.

Иногда мы семьёй ездили в гости к Ирине Владимировне Антонович. Она была управляющей огромным имением Казаково миллионера Полякова, километрах в семи от Волова.

Поляков, его звали Самуил Соломонович (1837–1888), был известным железнодорожным дея-

телем. Происходил он из семьи еврейского купца, торговавшего водкой. Своё состояние составил в период раздачи железнодорожных концессий. В 60-е и 70-е годы бурного железнодорожного строительства он проложил много железных дорог, в частности, линию Орёл-Грязи. О величине его капитала можно судить по размерам его пожертвований на разные цели, в основном на строительство школ: они составили более двух миллионов рублей.

В имении Казаково был огромный сосновый парк с тенистыми аллеями и дорожками, посыпанными песком. У главного входа — большие чугунные ворота. Воздух был насыщен ароматом сосновой хвои. Миновав аллею из старых лип, мы выезжали к огромному четырёхэтажному дворцу из красного кирпича с башней. В его пыльных пустынных залах было много достопримечательностей, исторических реликвий: чугунные пушки времён Петра Великого, атласные кресла с гнутыми, резными, золочёными спинками, трон императрицы Елизаветы, много картин.

В одной комнате учитель Михаил Михайлович, водивший нас по дворцу, показал на пролом в потолке:

— Это я провалился, но удержался на локтях.

Неужели перекрытия были столь тонкими? Это возбуждало подозрение в декоративности всего дворца. В нём ведь никто никогда не жил.

Ирина Владимировна, несколько полная, ещё молодая дама, отличалась аристократичностью манер и славилась страшной для местного общества требовательностью к соблюдению этикета: как держать за столом вилку, как говорить... При этом она не стеснялась делать замечания по этому поводу кому угодно, поэтому её побаивались все, кроме моего отца, он иногда даже подшучивал над ней. Отец держал себя

с той естественностью и простотой, которые были выше светских условностей.

Ирина Владимировна была крёстной моего брата Володи. Однажды у неё были гости из Западной Украины, среди них — «хлопцы» нашего возраста в украинских национальных костюмах. Я тогда впервые услышал приятную мягкую украинскую речь, не всё понимая. Нас, детей, усадили за отдельный маленький столик в соседней комнате, но я часто выбегал из-за своего стола к старшим, нарушая все этикетки и смущая маму до краски в лице.

Более близкое знакомство было у нас с Истоминами. У них сохранилось скромное родовое поместье с очень небольшим клочком земли. Старого Истомина — Александра Павловича — я помню высоким стариком с седой бородой. Он был попечителем народных школ, поэтому хорошо знал маму. Умер накануне революции. Его сын, Пётр Александрович, кончил ветеринарный институт, он был другом моего отца и моим крёстным. С отцом они были на «ты», при встречах целовались. Мама за глаза величала его снисходительно Петей, а он маму — кумой. Это был простой, добродушный, немного чудаковатый мужчина с маленькой бородкой, как у наркома иностранных дел Чичерина, с большими серыми глазами навывкате и морщинами на лбу, сходящимися к переносице в виде ижицы. Он любил балагурить, ко всем бедам и неприятностям относился с философским спокойствием и с иронической усмешкой. Мама рассказывала, что студентом он много кутил с цыганами и шансонетками, спускал все деньги, которые ему присылал отец, и просил новых, по два года сидел на каждом курсе и с трудом кончил институт.

Меня удивлял костюм «Пети» — традиционный дворянский: сапоги, шёлковая косоворотка, поддёвка из тонкого чёрного сукна с подбором в ладной талии. «Вроде русского фрака, вместо английского пиджака», — думал я.

Революция таких помещиков спасла от позора полного разорения, а многих, получавших ссуды под залог, и от долговой тюрьмы. Не удивительно, что многие из них приняли советскую власть не хуже трудящихся и охотно служили в Красной Армии. Кроме Петра Александровича, таковыми были юноша Серёжа Ветчинин, генерал Павлищев и многие другие.

Жену Петра Александровича Ольгу Ивановну все считали красавицей. У неё были правильные черты лица, но я не понимал, что видели красивого в её томно-ленивой, как мне казалось, вялой интонации, медлительной грации. Она была ливенской мещанкой. Петя был заметно старше, очень любил её.

Когда много лет спустя мы с сыном Колей приехали на моей «Победе» в Волово, я встретил полуслепую старушку, в морщинах которой ещё просвечивали остатки былой красоты. Это была Ольга Ивановна. Дочь её бросила, и она жила одна в хате своей старшей сестры — моей бывшей учительницы Антонины Ивановны.

Елизавета Николаевна Черемисина была моей крёстной. Их усадьба находилась где-то к югу от Волово. Её мужем был Николай Николаевич, невзрачный и недалёкий, она же была интересной брюнеткой с крупным смуглым лицом цыганского типа и низким грудным голосом, и её все жалели. Их старший сын Коля в гражданскую войну попал к белым,

потерял кисть правой руки, после чего благополучно вернулся домой.

Ближе всех нам была большая и интересная семья разорившегося вконец мелкого помещика Александра Васильевича Баранова. Они жили в десяти километрах от нас, и я очень любил, когда папа, отправляясь к ним, брал меня с собой.

Когда подъезжали к Барановской мельнице, ещё издали был слышен шум от вращения колеса и от воды, падавшей с его лопастей, протекавшей поверх створов и через щели плотины. Высокая стена плотины была из досок, её подпирали по всей длине слепи из брёвен, а перед плотиной, наверху, лежало зеркало воды верхнего бьефа. Вода непрерывно лилась на лопасти, поворачивая их, белой пеной падала вниз, а дальше бежала уже тихая, обезсиленная. За колесом стояла бревенчатая избушка, в которой с шумом и треском немудрёная деревянная механика крутила жернова двух поставов.

Левее мельницы, на правом берегу Кшени, началась усадьба — большой одноэтажный дом и много вспомогательных построек. По двору были протянуты на белых изоляторах провода электропроводки. Брат Александра Васильевича, Василий, был инженером-электриком и вздумал поставить на валу водяной мельницы генератор и провести по усадьбе электричество. Он окончил электротехнический факультет вместе с будущим главным инженером Днепростроя академиком Александром Васильевичем Винтером.

За постройками на берегу Кшени начинался огромный яблоневый сад. Яблоки были великолепные — чистосортная антоновка, подпорки их едва удерживали. Между яблонями просвечивали огром-

ные кучи яблок, их почти некуда было девать. Когда наступил военный коммунизм, торговли не стало, Барановы привозили нам безвозмездно каждой осенью два-три огромных мешка антоновки. Мы её ели, а мама мочила на зиму две-три кадушки. В тот последний наш приезд Александр Васильевич, высокий, сутулый, худой, со щеками, впалость которых подчёркивали его большие выпяченные губы, был болен и ежеминутно кашлял на весь свой огромный сад. Шла уже гражданская война, Деникин успешно наступал с юга на нас, Александр Васильевич шёл и говорил: «Белые идут всё вперёд, всё вперёд — и получится каша». И он, жестикулируя руками, изображал эту кашу.

Жена его, Пелагея Алексеевна, была очень энергичной полной женщиной. Имея большое хозяйство и трёх детей, она умудрилась заочно учиться на математическом факультете университета и успешно закончить его.

В семье Александра Васильевича жила в это время жена его брата Лидия Дмитриевна с сыном. Сам Василий Васильевич во время гражданской войны бежал с белыми, а нам, детям, говорили, что он в плену.

Лидия Дмитриевна, высокая, стройная, в то время была ещё совсем молодой брюнеткой с чёрными глазами на совсем не смуглом лице, с совершенно чёрными волосами и чёрными бровями и ресницами. Она была скромной, молчаливой, всегда печальной, сдержанной, но вежливо внимательной. Когда другие смеялись, она только тихо улыбалась. Её все уважали и любили. Мне она казалась очень привлекательной (я тогда не понимал слова «обаятельный») сочетанием женской красоты и большой внутренней культуры, благородства. Смутно я чувствовал трудную долю её печальной судьбы матери-

одиночки, как теперь говорят. Позже я вспоминал образ Лидии Дмитриевны, когда знакомился с литературными портретами Марии Фёдоровны Андреевой или Ларисы Рейснер, но у тех женское обаяние и культура сочетались с чертами женщины-борца, а Лидия Дмитриевна не была борцом. Она была просто одинокая женщина, волею судьбы разлучённая с мужем, оставшаяся одна с сыном в расцвете лет. И она тихо, просто, с достоинством, без жалоб несла своё бремя одиночества и верности. Она ещё не знала, что её муж жив, осел в Болгарии, завёл там новую семью. Но и узнав это, она сохраняла ему верность до самой смерти.

Когда я начал читать романы Л. Н. Толстого, то узнал Лидию Дмитриевну в Анне Карениной. Только такой красивой и несчастливой могла быть в моих глазах Анна Каренина. И когда много лет спустя я увидел на сцене МХАТа Тарасову, был разочарован. Моя Анна была красивее и тоньше, благородней, она была дворянкой в истинном смысле слова. Моя Анна — Лидия Дмитриевна — никогда бы не унизилась до истерических выкриков, она была слишком воспитанна и горда для этого. И даже потрясающая в исполнении Тарасовой сцена встречи с Серёжей не могла мне вернуть очарования моей Анны.

«Анну Каренину» я видел осенью 1941 года в Саратове, куда эвакуировался МХАТ, а я, только что мобилизованный, учился там в трёхмесячном училище связи. Публика была почти сплошь военная: командиры, курсанты. Зал был спаян особым настроением разразившейся войны, только что оставленных семей, грозного будущего... Спектакль воспринимали с напряжённым вниманием, а во время сцены с Серёжей многие командиры, не таясь, вы-

тирала глаза платками. Ведь у всех были оставленные Серёжи и Анны.

В семье Барановых собралось четверо детей: трое — Александра Васильевича и четвёртый — Лидии Дмитриевны. Двое младших были моими ровесниками, оба Александра: Шура Чёрный — в мать — красивый брюнет с тонким высокомерным лицом, почему-то смущавшим меня, и Шура Белый — кудрявый блондин, с которым мы подружились.

Шура Чёрный, вопреки запретам для нашего брата на высшее образование, каким-то путём всё-таки стал видным инженером-металлургом на автозаводе, а Шура Белый работал электромонтёром, как и я, и трагически погиб, отравившись обыкновенным сырком.

Вторым именем Полякова, за Липовчиком, управлял Андрей Станиславович Мосевич. Это был очень вежливый, ещё не старый поляк с небольшой бородкой. Он жил гражданским браком с полной дамой Зиновией Архиповной, и у них был сын Коля, лет на семь старше меня. Мы и у них один раз были с мамой в гостях. Они жили в одноэтажном доме с большими белыми колоннами. Коля показывал мне свои богатства, на которые я смотрел с удивлением. На балконе у него стоял большой аквариум с разными рыбками, на столе были в коробках коллекции разных камней-«минералов» и засушенные цветы — гербарий. Но больше всего, до позорной зависти, меня удивила действующая модель настоящего парового локомотива. Она блестела сталью и медью, и я боялся даже её потрогать. Коля объяснил, что у них в хозяйстве работает настоящий локомотив. Это паровая машина, как паровоз, только с очень длинной

трубой и стоит на месте, а от неё ремнями приводятся в движение молотилка и другие машины. Всё это было так интересно, что не хотелось уезжать.

К северо-западу от Волово, возле села Ломигоры, была усадьба генерала Павлицева. У него осталось всего тридцать гектаров земли — в два раза меньше, чем у нашего соседа-мужика, — и фамильный дом с белыми колоннами. Сам он постоянно отсутствовал — вероятно, на службе в армии, — а в имении жила его семья: жена, маленькие дети, Юра и Вера, и ещё какая-то родственница, внучка или правнучка Пушкина, как говорили про неё, ещё не старая женщина. Очень не по-волоовски смуглая, горбоносая, с чёрными, как смоль, волосами, невысокого роста, очень живая, как ртуть. У неё была почему-то, как я считал, французская, фамилия Пано. Она мне казалась очень смешной, вроде обезьянки. Ездила она обычно с самой Павлицевой.

Однажды летом — родителей дома не было, были только мы с Володей — вдруг в дверь кто-то постучал. Володя крикнул по-немецки (мы тогда увлекались им для разговора):

— Wer ist dort? (Кто там?)

И услышали голос, два раза с восхищением повторивший:

— Wer ist dort? Wer ist dort? — И, открывая дверь, радостно: — Ich! Ich! (Я!)

Это была Пано.

К тому, что Пано — внучка Пушкина, я относился с детским недоверием. Как это так, у нас в Волово — и вдруг внучка самого Пушкина? Но через много лет узнал, что родная сестра Александра Сергеевича Пушкина, Ольга Сергеевна (1797–1868), которой по-

священо его послание «К сестре», была замужем за Николаем Ивановичем Павлицевым, известным историком (1801–1879). Их сын Лев Николаевич (1834–1915), племянник поэта, написал известные воспоминания, а дочь Надежда Николаевна (1837–1909) вышла замуж за Иосифа Рафаиловича Панэ. И наша Пано, как мы её называли, была их дочерью и, соответственно, двоюродной внучкой А. С. Пушкина.

Впрочем, лучшим доказательством её родства с Пушкиным было потрясающее сходство с ним: и смуглым лицом, и даже, как мы себе представляем поэта, темпераментом.

Южнее Волово, возле Нижнего-Большого, было имение Лачиново. О нём рассказывали чудеса. Какой-то Лачинов приехал, купил за безценок бросовые овраги, посадил в них парк, большой фруктовый сад. Построил что-то вроде фабрики для консервирования и переработки фруктов и заключил договора на поставку этой продукции московским кондитерским фабрикам. Оказалось, что этот Лачинов был потомком декабриста Лачинова.

Как-то папа взял меня с собой в Лачиново. И вот мы въехали на территорию усадьбы. Возле поляны стоял большой двухэтажный деревянный дом. Нам объяснили, что здесь и сушили фрукты, и перерабатывали их в разные джемы. Несколько в стороне стоял одноэтажный кирпичный господский дом. Перед домом были газоны и клумбы с цветами, а кругом — красивые ели, не зелёные, а совсем голубые.

Управляющий повёл нас показывать сад и пруды. Пруды были в парке. На берегу стояли домики из свежих досок — купальни. За плотиной была очень

красивая зелёная лужайка. Я просился побегать по ней, но папа засмеялся и сказал:

— Дурачёчек, это не лужайка, а ряска — цветёт вода в пруду.

Поражало, сколько труда нужно было вложить, чтобы на пустыре создать такой дивный уголок культуры. И случилось нам с папой быть там после погромов 1917 года. Великолепные пруды были спущены, цветники растоптаны. От дома остался один фундамент на уровне земли, а вокруг него — зелёная лужайка, покрытая белыми листьями. Это были страницы порванных книг, до листочка, на русском и иностранных языках. Но фруктовый сад сохранился в руках воловских колхозников.

Помещик Маслов, получив медицинское образование в Берлине, устроил в своём имении великолепную больницу, доступную всей округе. Не знаю, уцелела ли она, но после революции Маслов служил главврачом ливенской больницы.

Революция

Зимой 1917 года к нам в гости приехал из Губаново Паша Вуколов — сын старшей сестры отца Веры. Это был ловкий юноша, блондин. На мизинце у него был длиннющий ноготь, который он постоянно хохлил. Папа однажды заметил:

— Зачем тебе это?

Он сконфуженно промолчал.

Павел рассказывал, как ему пришлось однажды ехать от Москвы до Тулы в одном вагоне с Л. Н. Толстым. Толстой его расспрашивал, где он учится, что читает.

Скоро всё изменилось. Наступили потрясающие события.

В один из обычных февральских дней папа пришёл с Дворни необычно взволнованный. Он отвёл в сторону Пашу и стал что-то шептать ему на ухо. Я, конечно, пытался подслушать, но меня строго отстранили.

— Не может быть! — сказал Павел, которому передалось папино волнение.

Вошла мама — шепнули ей. Её лицо стало испуганным.

— Что ты говоришь?!

— Подождём вечерних сообщений, — сказал папа.

На другой день папа снова ушёл в село и, вернувшись, громко сказал:

— Царь отрёкся от престола, вчера пришла телеграмма.

Но все были так покорены царским режимом, что не верили свободе и, опасаясь, что это сообщение не подтвердится, только взволнованно шептались.

Когда пришли газеты, страх прошёл и началось непередаваемое ликование народа.

Кто-то из великих сказал: «Революция — это праздник народа». И я до сих пор помню этот праздник. Единственное, что с ним можно сравнить за всю мою жизнь, — это День Победы 9 мая 1945 года. Весной 1917-го тоже ведь третий год продолжалась война.

Конечно, тогда я не мог понимать сути этого события — видимо, мне передавалось общее настроение, — но я и сейчас помню чувство падения гнёта, которое мне и теперь трудно передать словами, чувство огромного праздника, свободы, необъятной радости. Все бросили свои дела, были сильно возбуждены, торопились куда-то — друг к другу, на улицу, в центр села, на площадь-выгон, к толпе. Обнимались, многие целовались на улице, даже незнакомые, все нацепили красные банты.

В большом восторге была многочисленная музыкальная и вообще талантливая интеллигентная семья дьякона Гончарова, к тому времени уже умершего. Это были братья Сергей, Пётр и Владимир и сёстры Лида, мамина подруга, Сима и миниатюрная Варя с матерью Клавдией Ивановной. Они немедленно со-

чинили гимн революции и распевали его хором по домам и на улице:

*Да здравствует Россия —
Свободная страна!
Свободная стихия
Великим суждена:
Луга, поля и рощи,
И реки, и леса.
Нам светит всем заря.*

Каким-то образом все узнали (радио-то ещё не было) и запели запрещённые при царе революционные песни. От Гончаровых, вероятно, пошла декламация:

*Как совесть тирана,
Осенняя ночка темна.
Темнее той ночи встаёт из тумана
Видением грозным тюрьма.*

А мне слышалось: «совести рана».

Популярнее всего был похоронный марш «Вы жертвою пали в борьбе роковой...» Его пели почти непрерывно, не придавая значения тому, что он похоронный. До сих пор у меня, когда вспоминаю, звучит в ушах: «в любви беззаветной к народу». Его первым я выучился играть на балалайке. Пели «Смело, товарищи, в ногу», «Варшавянку»...

Все стали какими-то близкими друг другу (такую необъяснимую, но очень сильно ощутимую близость я чувствовал в народе в Отечественную войну). У всех на первом месте были Революция, Свобода и нетерпеливое ожидание наступающего нового Счастья. Как будто наступила весна, тронулся лёд, бегут потоки, сияет солнце... Весной щебечут птицы, хочется

лететь вперёд, вверх свободно, безгранично к солнцу. Всеми фибрами тела чувствовалось, что будто бы кончилась холодная леденящая зима, не нужны оковы тяжёлой зимней одежды. Легко, греет солнце, а впереди — безграничные радости лета. Так ощущалась детская весна. Так запомнилась революция.

Приехал из Ливен гимназист, мамин племянник Паша. Мы с ним нашли выброшенную рождественскую ёлку, очистили её от веток и игл. Выпросили у мамы кусок материи «пике». Павел нарисовал на нём рожу с лихими усами и написал: «Да здравствует свободное казачество!» Сделали флаг и водрузили его на дворе. Видимо, у Паши революция ещё не вытеснила знаменитого героя первой войны казака Козьму Крючкова.

Начали возвращаться с фронта воловские жители и приезжать горожане, спасаясь от голода.

Воловский Хлестаков, Петя Гончаров, привёз из какого-то имения в Галиции диковинный трофей — великолепную шкуру настоящего бурого медведя с головой. Захлёбываясь от восторга, он рассказывал о своих похождениях, когда развозил на мотоцикле военную почту.

Приехал из Кронштадта моряк-подводник Ефрем Сергеевич Бачурин — бывший мамин любимый ученик, из бедных крестьян. Теперь это был молодой скуластый парень в великолепной морской форме — безкозырке с лентами и с золотой надписью «Балтийский флот», в широченных брюках-клёш и тельняшке под форменной тужуркой. Но самой покоряющей в нём была походка. Он ходил, странно переваливаясь с ноги на ногу. Чтобы поднять левую ногу, он наклонялся вправо, а чтобы поднять правую, наклонял-

ся влево. Я долго учился подражать ему — не получалось. И только позже я понял, что это он не залихватски форсил, а привык так ходить: он как бы ловил уходящую из-под ног палубу.

Приехал с фронта мой дядя, отец Паши, Александр Борисович Руденский. Он служил унтер-офицером. С ним появилось новое слово «большевик» и новое имя: Ленин.

Ещё продолжал приходиться на очень плохой бумаге наш постоянный журнал «Нива». В нём печатались политические обзоры, но я помню только фотографии. На одной из них — герой того времени А. Ф. Керенский, морской, военный и премьер-министр: голова «бобриком», в крагах, правая рука за бортом ту-журки-френча.

Разговоры о революции становились всё более сложными и серьёзными — непонятными.

Однажды вечером у нас собрались гости, и у них поднялся горячий спор с Александром Борисовичем, который стоял за Ленина, упоминали какой-то «пломбированный вагон».

На выгоне возникали бесконечные стихийные митинги. Кто-нибудь устраивался повыше и начал изливать душу, его окружала толпа. На одном митинге выступал и папа — он был общественный человек. Я его слышал, ничего, конечно, не понимая, но не видел из-за чужих спин. На другом митинге выступал Ефрем Сергеевич. Из его выступления я запомнил: «Нам не нужно Босфоров, нам не нужно Дарданеллов». Он не постеснялся сказать: «Не слушайте разных Булгаковых, гоните их под ж... коленом». Это не помешало ему потом придти к нам в гости.

Приехала из Губаново наша любимая тётя Маруся. У Ефрема Сергеевича с ней разгорались безконечные жаркие споры до поздней ночи на политические темы. Смысла их я не понимал, но было интересно смотреть сквозь слипающиеся веки на их сверкающие глаза и раскрасневшиеся лица. Сдаётся мне, что под этой политикой скрывалось извечное соревнование между мужчиной и женщиной. Тётя, кончившая Высшие женские курсы Герье по литературе, была своеобразная гордая девушка, не признававшая мужчин. Многие ей делали предложение, но она всем отказывала. Даже родной племянник Паша Вуколов признавался ей в любви, стоя на коленях. Он был на два года старше своей тётки.

Осень, вечер. Мы дома одни. Мама разливает чай, папа читает вслух газету: «С крыш домов (видимо, в Петрограде или в Москве) стреляют пулемёты». Мне страшно.

За этим чаем я впервые услышал Маяковского:

*Ешь ананасы, рябчиков жуй —
День твой последний приходит, буржуй!*

Газеты и плакаты пестрят лозунгами. У Временного правительства назойливо звучит один: «Война до победного конца!» Его заглушают лозунги большевиков: «Мир без аннексий и контрибуций! Хлеб — трудящимся, земля — крестьянам! Вся власть — Советам! Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Да здравствует мировая революция!»

В народе поют куплеты:

*Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем.*

Революция, атмосфера митингования захватили всех, даже детей. Брату Володе было тогда четыре годика. Когда кто-нибудь из знакомых заходил к нам в кухню, где зимой мы проводили весь день, то начинал его просить, передвигая на середину кухни табуретку:

— Володя, скажи речь.

Володя, преодолев смущение, взбирался, пыхтя, на табурет, принимал позу, выдерживал паузу и, подняв кверху руку, с пафосом восклицал:

— Товарищи, организуйтесь большевизму!

«Публика» приходила в восторг, аплодировала, а Володя деловито сползал с табурета.

Снова приехал Паша Вуколов. За прошедшее время он окончил юнкерское военное училище и вернулся со званием прапорщика. Нас он поразил своей блестящей коричневой, а не цвета хаки, как у всех, военной формой. На нём были галифе, френч, как у Керенского, коричневая фуражка с плетёным из шнура ремешком и высокие сапоги с козырьками, прикрывающими колена, как у кайзера Вильгельма. Чтобы голенища не сползали, в них изнутри сзади был вставлен вертикально плотный ремень, скрытый замшевой подкладкой.

Но самое захватывающее у него было — два новеньких револьвера: синей воронёной стали наган и маленький плоский пистолет браунинг, в кармане пояса брюк.

— Для личной обороны, — пояснил Павел.

Он дал нам их рассмотреть, но играть не разрешил.

Теперь меня удивляет, откуда была эта военная роскошь на четвёртый год войны в «отсталой» России?

Революция занесла в нашу глушь много интересных людей. Самым загадочным из них был человек, называвший себя Григорием Александровичем Дмитриевым.

Осенью 1917 года, когда мы были в кухне, мама возилась у печки, я сидел у окна и увидел, что с большого двора к нам идёт мужчина, который сразу привлёк к себе внимание. Он был среднего роста, в поддёвке «крестьянского сукна», какие носили дворяне, подпоясан кавказским ремнём, с арапником в руке с наклёпанными серебряными украшениями. Походка лёгкая, но уверенная, осанистая. За ним бежал чёрный бульдог.

Едва я успел сообщить об этом маме, как дверь отворилась, и он

вошёл в кухню. У него было округлое выбритое лицо, серые глаза. Спросил, когда будет врач полечить его собаку. Речь чёткая, «интеллигентная». Иногда как будто жевал губами. Мама, почувствовав в нем барина и немного растерявшись, ответила. Он сказал «благодарствуйте» и ушёл.

Оказалось, что это был учитель сельской школы из глухого села Нижне-Большое, километров в шести от нашего.

Папа не очень любил, когда к нему обращались с болезнями «собачек» и «кошечек». Поэтому он наш рассказ встретил прохладно. Но всё же собаку Григория Александровича ему лечить пришлось, и с её хозяином завязалось знакомство. Отец понял в нём человека образованного, воспитанного, интеллигентного, но относился к нему почему-то снисходительно-иронически, хотя и дружелюбно, а мама, пообвыкнув и узнав некоторые его странности, — даже насмешливо.

Григорий Александрович не рассказывал, кто он такой, говорил только, что приехал из имения великой княжны Грузинской, прямого потомка последнего грузинского царя Георгия XII-го, которое было недалеко от Волово. Сама княжна эмигрировала, а он остался.

Однажды он показал мне большую, чуть меньше ладони, круглую серебряную медаль с изображением Георгия Победоносца верхом на лошади, пронзающего копьём змея у её ног, и сказал, что это наследственный герб великих князей Грузинских. (После добровольного присоединения Грузии к России в 1801 году династия грузинских царей получила титул великих князей). Видимо, он постоянно носил его на груди вроде нательного креста.

В разговорах с родителями он их часто удивлял, особенно маму. Например, один раз, рассказывая о красотах Петергофа, обронил фразу:

— Когда мы с Петром Александровичем были на охоте...

Мама перебила его удивлённо:

— С Истоминым?

— Нет, с принцем Ольденбургским.

Мы не знали, что принц П. А. Ольденбургский был мужем родной сестры Николая Второго Ольги, но было ясно, что Григорий Александрович был там своим.

Народ бездумно веселился, радуясь начавшемуся возвращению своих солдат с фронтов и надеясь на скорый мир.

Зимой катались с гор на санках и на «калганах», которые делали так. Брели кошёлку, плетённую из соломы, или корзину, обмазывали дно коровяком — коровьим помётом — и на морозе поливали водой.

Дно замерзло и становилось твёрдым и гладким, как стекло. Катались на санках и взрослые.

Вспомнили кулачные бои: как ходили «стена на стену» — деревня на деревню, — чаще всего наша Висленка на Нижнее-Большое. Сначала острили, насмеялись друг над другом, задирались, набирались злости, пока кто-нибудь не срывался ударом, и тогда начинался бой.

Следили за правилами драки, особенно строго преследовался твёрдый предмет, например, пятак в перчатке. Разбивали в кровь носы, а иногда бывали и увечья.

На масленицу пекли блины. Женщины не отходили от загнетки, пекли на тройчатках — трёх сваренных вместе сковородах. Подавали на стол большими стопками. Ели с топлёным коровьим маслом, сметаной, сыром, который делали сами по особому рецепту, а то и с красной икрой. На середину блина, пропитанного маслом, клали икру, свёртывали в трубочки, поливали сметаной — и в рот. Икра приятно острила. Запивали водкой. Неделю стоял масленичный угар. Парни соревновались, кто больше съест. Рекорд поставил Володька Гончаров: съел сорок блинов. Ему было лет семнадцать — он был парень-ухарь, плясал «барыню», пел импровизированные частушки:

*Не горюйте девки, бабы,
Я нигде не пропаду.
Читать, писать умею,
В комиссары попаду.*

Моё детское воображение Володька пленил своей юношеской независимой высокомерностью и зага-

дочным перстнем: змея кусала свой хвост. Скоро он умер от сыпного тифа.

Масленица кончалась «Прощёным воскресеньем», в которое все должны были просить прощения друг у друга. Угар обжорства стихал, а наутро, с понедельника, наступал Великий пост — на семь недель. Нас мама тоже заставляла поститься, но папа её не поддерживал, ослаблял наш режим и сам не постился.

Наступала последняя неделя поста — Страстная. Пост становился более строгим. В церкви начиналась особая служба, дело подходило к Пасхе.

Снег почти весь стаял, только в отдельных затёнутых уголках да под листьями сохранились твёрдые тёплые льдины. Деревья стояли ещё голые, с набухшими почками. Лёгкой, прозрачной зеленью светились ракиты, а на них — скромные жёлто-зелёные цветы-серёжки. В саду из-под прошлогодней листвы пробивалась зелёная травка. Ров, окружавший сад, был наполнен водой и казался если не рекой, то каналом. А в том углу сада, где рос вишнёвый кустарник, разлилось большое озеро. Глаза не могли оторваться от опрокинутых в это зеркало деревьев с облаками над ними. Приятно пахло весной — влажной землёй, прошлогодними листьями.

Хотелось немедленно навсегда запечатлеть, сохранить всю эту красоту. Я пытался рисовать акварелью, но не получалось.

К празднику мама наготовила множество всяких вкусных блюд. Агроном, молодой латыш Альфред Иванович Зазевский, собственноручно закоптил нам индейку. Это умел делать только он, в специальной печке, вырытой в земле. Было так вкусно, что помнит-

ся до сих пор. Зарезали и разделали большую свинью. Мама приготовила из неё, кроме простой ветчины, ещё сальтисон — что-то вроде колбасы: желудок, фаршированный свининой. Наделали хлебного кваса с изюмом, такого крепкого, что из бутылки вышибло пробку в потолок — говорили, как от неведомого нам шампанского. Мама напекла в особых железных формах куличи с глазурью наверху. Из творожной массы с ванилью в деревянных разборных формах сделали пасхи в виде усечённой пирамиды с буквами Х и В по сторонам — Христос Воскресе. Главное место занимали, конечно, крашенные яйца. Красили луковой шелухой и разными красками. Спичкой с уксусной кислотой краску снимали, делая узоры и буквы ХВ — это были «писанки». Для красоты их укладывали в проросший овёс. В глубокие тарелки заранее насыпали земли и сеяли овёс, к празднику он вырастал зелёной шапкой высотой сантиметров в двадцать, и вокруг этой шапки укладывали разноцветные яйца. Мама пекла пирожки с рисом, капустой и мясом и большой пирог, с безконечными безпокойствами: чтобы не подгорел, чтобы не было закала...

Папа в церковь не ходил, но эту Пасху 1917 года решил посетить вместе с Григорием Александровичем, чтобы показать мне торжественность пасхальной службы, к радости мамы. Трудность для меня заключалась в том, что служба начиналась с вечера и нужно было всю ночь не спать и стоять в церкви на ногах.

Мы пришли и встали между алтарём и клиросом за большой иконой, так что нам был виден алтарь и священник, а мы не были видны никому.

В церкви сначала была траурная обстановка: полусвет от свечей, кто-то читал монотонным голосом.

Потом Плащаницу уносили в алтарь, и был крестный ход вокруг церкви. Все, во главе со священником и причтом, с хоругвями и свечами выходили из церкви и три раза обходили её кругом. Плащаница — это горизонтальная икона, на которой изображён Христос, снятый со Креста. Через десятки лет я увидел изображение той Плащаницы, которой было укрыто Его Тело, чудесно отпечатавшееся на ней, и прежде всего — поразительное лицо Христа, совсем не такое, как на наших иконах, а лицо сильного человека, мужественно и с достоинством переносящего страдания, — как мне показалось, гениальное портретное изображение мученичества Христа. Считают, что это фотография с подлинного покрывала, хранящегося в Турине, на котором отпечаталось тело Христа. Кроме многочисленных научных исследований, окончательным доказательством подлинности может служить тот факт, что изображение на покрывале негативное, а о негативах до XIX века понятия не имели.

После возвращения с крестного хода вся обстановка вдруг сразу изменилась. Открылись царские врата, загорелись паникадила, траурные тона сменились на радостные. Хор запел *Христос Воскресе!* Начали трезвонить особым радостным перезвоном колокола — этот звон продолжался три дня. Верующие облегчённо вздыхали, становились радостно-просветлёнными.

Утром все христосовались. Один говорил: *Христос Воскресе*, другой отвечал: *Воистину Воскресе*, — и целовались, обменивались крашеными освящёнными яйцами. Потом садились за праздничный стол разговляться — теперь можно было есть всё. Ждали священника с причтом. Они ходили, как и на Рождество, из дома в дом. Священник молча подходил к иконам в красном углу зала, пел: *Христос воскрес из мерт-*

вых, смертью смерть поправ.., помахивая кадилом, от которого распространялся приятный аромат. Закончив, он оборачивался к нам и поздравлял обычным светским голосом. Всех приглашали к столу «откушать». К нам они обычно приходили после богатого соседа Галактионова, уже изрядно навеселе.

Летом у нас с мамой произошёл «классовый» конфликт.

Нужно было сходить на Дворню в библиотеку. Мама обрядила меня по-праздничному: короткие штанишки, чулки на подвязках, пристёгнутых к лифчику, и самое ужасное — матроска.

Это всё было бы ничего, если бы не резинка по подолу, которая делала матроску похожей на женскую кофту. Меня мучила общая шикарность костюма, да ещё с этой резинкой — резкий диссонанс с обычным костюмом деревенских ребят и с моим обычным домашним. Показать в таком костюме ребятам всей деревни казалось ужасным позором. Да ещё, возможно, дух демократизма дошёл и до моей детской души.

Но, мама, видимо, не понимала этого. Она привыкла, чтобы её сын был хорошо одет. Произошла бурная ссора: я не поддавался ни в какую и идти отказывался. Мама требовала и, кажется, вlepила мне затрещину. Я сбросил матроску и, несчастный, забрался на чердак. Там, в тиши и уединении, наревелся вволю, после чего успокоился и спустился вниз.

Мать тоже огорчилась. Она так любила меня, что, наказывая, часто не выдерживала характера и иногда, даже когда была права, просила прощения. И она отпустила меня без матроски, прямо в лифчике. Я напустил на себя мужественный вид и пошёл в библиотеку.

Библиотекарша с удивлением встретила меня, естественно развязного, в полуодетом, расхристанном виде, но ничего не сказала.

Я тоже чувствовал что-то неладное, неловкое, хоть и выиграл свою «революцию».

Начались разговоры о выборах в Учредительное собрание, о каких-то списках разных цветов и номеров — помнится, восьмой был белый. Появились слова: «социал-революционер», «социал-демократ». Мне нравилось слово «социал-революционер».

Помню, папа в коридоре у печи сидит на корточках с кочергой, топит печь. Я спросил, за какой список он будет голосовать.

— За восьмой, — сказал папа.

— За социалистов-революционеров! — воскликнул я.

— Нет, за беспартийных, — ответил папа.

— Почему? — недовольно протянул я.

Папа задумчиво помолчал, потом сказал:

— Я не люблю партий. Все они — догматики, сектанты, фракционеры, постоянно борются друг с другом.

Эти слова запали мне в душу, видимо, на всю жизнь, хотя их подлинный смысл я начал понимать много позже.

Всех взволновал ужасный случай, который произошёл в деревне Большовка. У одной женщины остановился ночевать прохожий — видимо, солдат, которых в то время было много: и дезертиров, и демобилизованных. Утром зашли соседи и застыли в ужасе. На кровати лежала хозяйка в крови с отрубленной головой, на лавке — её старшая дочь, тоже с отрубленной головой. В углу на соломе телёнок —

тоже. Осталась жива только младшая дочь, спавшая на печке, не замеченная убийцей. От хаты по снегу далеко тянулся кровавый след валенок.

У нас целые дни проводила вроде члена семьи девушка с Дворни Матрюща. Как-то в сумрачный ноябрьский день она прибежала и рассказала, что там мужики бунтуют: почему им в «Епе» не отпускают керосин, якобы привезённый со станции (ЕПО — единое потребительское общество). Разъяснениям правления они не поверили, подозревая его в махинациях, и решили идти к папе, как председателю ревизионной комиссии, искать правду.

И, действительно, послышался шум, и кухня заполнилась бурно перекрикивающимися мужиками. К моему удивлению и даже изумлению, папа достал из письменного стола револьвер и, как он был в кобуре, не посмотрев даже, заряжен ли он (я знал, что заряжен патронами, позеленевшими от двадцатилетней давности), сунул в карман и вышел в кухню. Я с ужасом думал, что же будет — ведь они растерзают папу, против такой толпы револьвер беспомощен и может только обозлить людей.

За дверью, как только вышел папа, наступила тишина. Папа спокойно спросил, в чём дело. Кто-то кратко ему рассказал. Папа так же, спокойным голосом, объяснил им что-то, и мужики без шума и разговоров разошлись.

Всё это произошло очень быстро, и я не мог понять, зачем папа взял револьвер, ведь он был против всякого оружия и не думал его применять. Вероятно, папа и сам не успел об этом подумать, проявив решительность и смелость. Ещё меня удивило, что так легко и быстро он успокоил бурную толпу.

«Ему очень доверяют, недаром выбирали всегда в ревизионную комиссию», — подумал я.

Общественная атмосфера становилась всё тревожнее. Иногда зимой в окна были видны где-то далеко в ночном мраке сполохи света. «Батюшки, пожар!» — восклицала мама, с ужасом всплескивая руками. И, всматриваясь в окно, говорила упавшим и тревожащим голосом:

— Да ведь это, никак, имение Покатаева горит.

Имений в наших окрестностях было много, и столько же было пожаров. Дотла сгорел пятиэтажный дворец-музей в имении Полякова, расположенный в роскошном сосновом парке. Какой бы это был санаторий!

Именья сначала грабили, разрушали, потом жгли дотла. Грабили все, «всем миром». Рассказывали много трагикомичных историй. Одному мужику досталось зеркало столь высокое, что не входило в хату, — он его вкопал на току в землю. Крупную мебель распиливали пополам. Но основная масса вещей просто гибла.

Однажды наш сторож Егор выпросил у папы лошадь — ехать грабить Овербеева.

— Зачем же тебе грабить? — спросил папа.

— Да как же — все едут, миром решили, и мне никак нельзя отставать.

— Что же ты награбил? — спросил потом папа.

— Да два бревна досталось, — сказал сторож.

Народ, вырвавшийся из оков самодержавия, истосковавшийся по земле и опьянённый лозунгами революции, в слепой стихийной ярости толпы не понимал, что он разрушает уже своё достояние.

Советская власть

Наконец, в один день всё вдруг переменялось, как будто прорвался долго созревавший нарыв.

Керенский сбежал из Зимнего, переодевшись сестрой милосердия.

Временное правительство сменилось Советской властью во главе с Лениным. Места министров заняли народные комиссары — наркомы. Правительство стало называться Совнаркомом.

В январе 1918 года Советская власть установилась в Ливнах и уезде.

Появилось много новых слов, напоминающих французскую революцию: декрет, митинг, мандат, контрибуция, конфискация, репрессия... Вошли в моду сложносокращённые, наподобие немецких, слова, породившие много анекдотов. Например: «Что такое «замкомпоморде»? — Заместитель комиссара по морским делам».

Ленину даже пришлось писать специальную статью «Об очистке русского языка».

Появились и новые чисто русские обороты и выражения. Например: «Ваше слово на месте», — что означает согласие с оратором; или «вопрос исчерпан»; или «парень клёвый» — от понятия, что рыба

хорошо клюёт. Очень любили слово «бузотёр» — от слов «тереть бузу», то есть просяную кашу.

В то время было много горячих споров о том, что же будет дальше. Молодежь и многие нестарые люди думали, что теперь всё будет совершенно по-новому, ничем не похожим на старое, надеялись на счастливое будущее. А старики скрипели: «Что они там буровят, всё равно всё уляжется и всё будет по-старому».

Особенно эта новизна была заметна в армии. Слова «офицер» и «солдат» воспринимались как оскорбление, погон не было, были только красные пятиконечные звёздочки и «комсостав» и «политсостав». И никто не думал, что старики окажутся правы, и ещё в моём поколении возродятся офицеры, генералы, погоны.

Мне тоже всё это казалось не настоящим, как будто взрослые начали какую-то большую интересную игру. Особенно неловко мне было на собраниях, когда все вставали и торжественно пели: «Вставай, проклятьем заклеимённый, весь мир голодных и рабов...» Хотелось, чтобы поскорее всё это кончилось и все сели...

Я задумывался над словами: «Кто был ничем, тот станет всем». А мы не были ничем, чем же мы будем?.. И я вспомнил басню о том, как верхние ступеньки лестницы загордились над нижними, но кто-то шёл и перевернул лестницу, и нижние стали верхними. Мы же были посередине, подумал я, вроде оси колеса: как колесо ни крути, ось остаётся посередине. И я успокоился.

Весной начали делить землю всем поровну. В наших чернозёмных местах основная часть земли находилась в больших, в тысячи десятин, хорошо ухоженных имениях. Именно они были основными

поставщиками зерна в Европу и Америку. У крестьян же было малоземелье. Даже наш сосед Галактионов, самый богатый в селе, имел на большую семью всего 60 десятин. Теперь великолепные имения дробились между крестьянами, среди которых было много вдов и безлошадных.

С этого началась новая жизнь и в нашей семье.

Однажды папа пришёл с Дворни оживлённый — он был на сходке. Так называли с царских времён общее собрание крестьян.

— Ну, мать, — сказал он, — собирайся крестьянствовать, я взял земельный надел.

Нам досталась земля Полякова, на которой колосилась роскошная пшеница. Теперь она стала нашей, и её надо было убирать.

Так мы стали «экспроприаторами экспроприаторов».

Взяв надел, отец поступил мудро, потому что к этому времени разруха уже развернулась, зарплату платили нерегулярно, миллионами, которые катастрофически падали в цене, потом и совсем перестали платить.

На сходке папу выбрали председателем ревизионной комиссии нашего Висленского сельсовета.

Мама взволнованно обрадовалась. Она была необычайно трудолюбива и энергична, росла с крестьянскими девушками, и её захватила новая сфера деятельности.

Кроме того, моё детское чутьё подозревало, что мама была в глубине души рада свержению привилегированных. Не нужно было подниматься на цыпочки в роли «барыни» и соблюдать этикет в «интеллигентном» обществе.

Моя крёстная мать помещица Елизавета Николаевна Черемисина теперь стала учительницей по лик-

безу и заходила к нам с учительских совещаний в стоптанных валенках, закутанная в изношенную шаль. Она жила в деревне, возле своего бывшего имения. Его не сожгли, а на его месте организовалась коммуна, которую так и звали: «Черемисинская». О колхозах тогда ещё не было и помыслов, не было и слова этого. Но о коммунах и коммунизме вообще в то время много и жарко толковали. Судачили, что будут объединять жён и спать все под одним одеялом. Поэтому попытка организовать коммуноу вызвала всеобщий интерес и споры: удержится или развалится? Все знали собственническую природу крестьянина, и мало кто верил в реальность коммуны, где не было даже личных приусадебных участков. Наша общественность раскололась на два лагеря: скептиков и энтузиастов. Подавляющее большинство ожидало со дня на день, что коммуна непременно распадётся. Немногие оптимисты надеялись, что она устоит, следили с живейшим интересом, как у постели больного, за её состоянием, переживали её беды и трудности и радовались её успехам.

Главной особенностью коммуны было, что она возникла стихийно, совершенно добровольно, как гриб после дождя, и, вопреки всему, благополучно просуществовала до самой коллективизации, когда её, понизив рангом, реорганизовали в колхоз, и свободные коммунары стали крепостными колхозниками.

Вместо Егора в нашей ветлечебнице появился новый сторож, санитар, он же кучер, Димитрий Сырых. Папа говорил, что его отец, бедняк Никифор по прозвищу Сухорукий, служил сторожем в Воловском банке и был «очень честный человек».

Димитрий, ставший нашим другом, вроде члена семьи, оказался молодым и приятным мужчиной с небольшой округлой шатенистой бородкой, правильным красивым лицом, большими серыми глазами и прямым носом. Всегда спокойный, с доброжелательной, иногда иронической улыбкой, с большим чувством юмора, которое не оставляло его во всех обстоятельствах жизни, он держался скромно, вежливо, но с чувством собственного достоинства. Говорил свободно, с исконно русской манерой умного крестьянина — поговорками и импровизированными прибаутками, которые часто ставили меня в тупик своей загадочной двусмысленностью. Например, разъезжая со встречной подводой, он приветственно кричал:

— Увидите своих — кланяйтесь нашим!

В ответ на благодарность:

— Не стоит благодарности, пожалуйста на чай.

Когда его, угощая, спрашивали, чего он хочет, то он, улыбаясь, говорил:

— Мне всё едино, что мёд, что калина, только мёд наперёд, а калина после.

Таких поговорок у него было неистощимое число. Озадачив собеседника своим хитроумным изречением, он тихо усмехался, довольный его недоумением.

Приняв наше кучерское лошадиное хозяйство, Дмитрий сделал новый кнут с кнутовищем из сирени, который он называл «праздниковым» — для праздничных выездов в гости.

Он был трудолюбив и мастер на все руки. Мне он сразу понравился, я проводил много времени возле него, часто думая: «Было бы у него образование, с его умом он мог бы стать министром».

До войны Димитрий служил батраком у одного воловского богача. На войне попал в плен, работал

батраком у немецкого хозяина и даже научился говорить по-немецки со своеобразным произношением. Например, он говорил: «фаршейнихт», — что означало: «не понимаю». Про свой плен он рассказывал с удовольствием, вроде даже с восхищением.

— В рабочую пору у нас спину гнут от зари до зари, а у них — не так. Он тебе придет в поле часам к девяти, на лошади или на велосипеде, поработает до обеда, потом — перерыв. Поест разные закуски, опять поработает — и домой. А по воскресеньям совсем не работают, хоть ты што. А дорог у них много, и все мощёные, и с обеих сторон обсажены деревьями, яблонями, и яблоч никто не ворует. Избави Бог.

Главой власти у нас в Волово несколько лет был председатель Волисполкома, «предвик», Константин Алексеевич Бахтияров. За глаза его звали просто Костя или Костик. Он ходил в длинной шинели и будёновке с большой красной звездой. Это был молодой парень очень высокого роста, в плечах кося сажень, брюнет с простым скуластым лицом. Его неправильное лицо казалось мне некрасивым, но в целом его внешность производила располагающее, почти обязательное впечатление. Он не казался таким «антагонистически классово» недоступным, какими были или старались казаться многие коммунисты того времени. Родом он был из соседнего Воловчика и имел низшее трёхклассное образование, но явно обладал выдающимися природными данными. Держал себя просто, дружелюбно, но с достоинством власти. Несмотря на молодость и довольно своенравный характер, он необычно долго для того бурного времени занимал один и тот же пост. Его одни любили, другие уважали, но почти все были им довольны.

Папа тоже относился к нему с уважением и лёгким оттенком фамильярности — вероятно, из-за разности возрастов. Любивший подмечать в людях что-нибудь хорошее, он ценил Бахтиярова за относительную гуманность и говорил:

— Костя — молодец! Он умеет волюсь отстоять от непосильной развёрстки, план поставок выполнить на сто процентов и никого не репрессировать.

К репрессиям Бахтияров не прибегал. Крестьяне его понимали и, видимо, сами старались отдать, сколько можно, оставив себе, чтобы только выжить.

Однажды летом Бахтияров навестил нас. Папа принял его в галерее. Мама устроила салат из помидоров и колечек лука, политых постным маслом, с уксусом и перцем, а папа налил разведённого спирта. Бахтияров сначала для приличия отказывался, ссылаясь на то, что ему врачи запретили, у него якобы туберкулёз. Папа понимающе говорил:

— Ничего, по маленькой можно.

— Ну, если разве по маленькой.

Через несколько лет Костю Бахтиярова перевели начальником милиции в соседнее большое село Борки Елецкого уезда. Там он спился и погиб.

Мне запомнилась одна его выходка с явным юмором.

В нардоме был митинг по случаю первого мая. Бахтияров вышел на сцену в шинели, едва не касаясь потолка шишаком будёновки, и произнёс речь. Говорил он свободно, без заминки, со смыслом, применяя, конечно, иногда неправильные или неудачные обороты, как и многие в устной речи, но он не пользовался никакими шпаргалками или конспектами, их тогдашние ораторы не знали. Просто и ясно текла его речь, и вдруг... я увидел, что из кармана его шинели

прямо на публику направлено дуло нагана. Неужели он заранее его так пристроил в кармане? Он говорил, поворачивался, и вслед его движениям по слушателям скользил взгляд нагана.

Это было потрясающе интересно.

На общем фоне классовой нетерпимости и неприимости, которой веяло от всех представителей власти — коммунистов того времени, не только мягкий и гуманный отец, но большинство простых людей инстинктивно старались обнаружить людей с проблесками человечности. Это было настолько характерно, что даже вошло в поговорку. Если кто-нибудь говорил про коммуниста: «Он хороший человек», — собеседник обычно отвечал: «Все они хороши, когда спят». Налёт классовой отчуждённости сразу покрывал почти всех вступавших в партию. Даже мой двоюродный брат Павел, мамин крестник, называвший её мамой, став партработником, преимущественно по агитационной работе, перестал к нам ходить, держался сухо — как мне казалось, устанавливая дистанцию. А ведь он был сыном приказчика, который при удаче мог бы стать и купцом. И если в годы империалистической войны и революции их семья жила крайне бедно, то не потому ли, что отец, хороший, но слабый человек, ещё с войны много пил, пока не заболел туберкулёзом и умер?

Вообще замечалось даже мне, мальчику, что выходцы из настоящих рабочих сохраняли больше простоты и человечности, чем примкнувшие к гегемону ортодоксальные «пролетарии», по поговорке «правоввернее самого Магомета».

Бабушка очень любила Павла, своего первого внука. Про неё остряли, что утром она спешит к обедне,

а вечером на партсобрание любоваться своим любимцем — членом волкома. Когда над этим посмеивались, она, поджав губы своего беззубого рта, сердито возражала:

— Не долдонь! Куда хочу, туда и хожу.

На место Бахтиярова предвिकом назначили Александра Алексеевича Соколовского. Он был, в противоположность Бахтиярову, до смешного маленького роста, с узким лицом и говорил с украинским акцентом. При Бахтиярове несколько лет был уездным прокурором и часто выступал у нас на выездных сессиях суда. Очень живой, с острым умом и большим чувством юмора, несмотря на свою невзрачную внешность, пользовался большим авторитетом. Он был заметно старше Бахтиярова. Если Бахтиярова больше любили, то Соколовского больше уважали. Секрет этого уважения и влияния на народ, несомненно, заключался в его красноречии, искренности, умении владеть толпой. На судах произносил остроумные впечатляющие речи, тоже, конечно, без шпаргалок, часто вызывая смех. Его считали справедливым прокурором.

К началу коллективизации Соколовского перевели в Ливны директором механического заводика — более чем сомнительное повышение.

Секретарём партийной ячейки был крестьянин из Мокреца Григорий Матвеевич Шумский, но на меня в нём ничто не производило впечатления, кроме хриплого голоса, за что народ звал его Гришкой Хрипатым.

Секретарём ячейки комсомола был сначала симпатичный юноша, блондин, крестьянский парень интеллигентного вида Ваня Долотов. Его скоро пере-

вели на повышение, а потом он стал сотрудником центральной газеты «Беднота» и на этом поприще прожил свою жизнь до самой старости. Его место в Воловской ячейке занял тоже Ваня — Чибисов, крестьянин из деревни Турчановка, брюнет, хороший парень, он был потом тоже выдвинут на повышение, но погиб в 1937 году.

Страховым агентом был Яша Якобсон — совсем ещё молодой сын Ливенского учителя, безпартийный. Его главная обязанность заключалась в определении урожайности хлебов, по которой потом устанавливалась безпощадная продрозвёрстка. Целыми днями Яша ходил по полям с расстёгнутым воротом косоворотки, высоко подняв голову. Я не мог понять, почему он смотрит не на колосья, а на небо.

Однако в то жестокое время далеко не все были такими, можно сказать, гуманными, как Бахтияров и Соколовский.

Гостиниц в Волово не было, частные же дома других жителей пришли в упадок, и наш дом часто использовался как гостиница. К нам присылали из волисполкома приезжее начальство останавливаться.

Помню, к нам заехал пообедать проездом из деревни Большовка в Ливны работник Вознесенский. Судя по фамилии и по виду, он был из духовного сословия. Это был совсем молодой человек, обративший на себя моё внимание своими странно развинченными движениями рук и бледным лицом со следами отёчности. Он ездил «вышибать» хлеб по развёрстке и на осуждающий вопрос папы сказал развязно и скучно:

— Приходится одного-двух для острастки расстреливать.

Потом папа с презрением рассказывал, что он известен своими расстрелами как садист.

Другой случай. В деревню Замарайка, недалеко от нас, из Ливен приехали «комиссары» на грузовом автомобиле и забрали с собой сына зажиточного крестьянина. На другой день его нашли убитым в нескольких километрах от Волово. Видимо, решили, что везти «нет смысла», и расстреляли сами. Помню, очень переживали наши, особенно мама:

— Парень-то какой был хороший, и было-то ему лет двадцать.

После октябрьской революции Польша с Прибалтикой получили государственную самостоятельность, и многие наши жители, происходившие из тех мест, потянулись на родину.

Андрей Станиславович Мосевич начал выхлопывать разрешение на отъезд в Польшу и приехал к папе за советом. Не давали разрешение его жене Зиновии Архиповне, так как они не были обвенчаны, венчать же их в церкви не могли, потому что он был католик, а она — православная. Папа пообещал им помочь. И, действительно, уговорил какого-то старичка священника из отдалённого от нас села их повенчать. Скоро они уехали.

Вслед за Мосевичем собрались в Латвию агроном Альфред Иванович Зазевский с женой. У Альфреда Ивановича был рояль. Так как увезти его с собой он не мог, то попросил поставить его у нас. И вот в нашем зале торжественно поселился настоящий рояль.

Он был очень красив. Его крышка, когда её поднимут на подпорку, отражала всё, как зеркало.

Я, конечно, быстро рассмотрел его устройство, попробовал обе педали, одна поднимала планку над

всеми струнами, и тогда звук продолжался долго-долго. Другая, и это было самое удивительное, двигала всю клавиатуру вбок, и тогда молоточки ударяли не по двум струнам, а по одной, и они звучали тише.

Моё неутолимое стремление к музыке, которое ограничивалось балалайкой, ещё недавно казавшейся гордой красавицей, теперь получило новые, настоящие перспективы. Я начал подбирать одним пальцем знакомые мотивы. Но не удавалось подобрать всё правильно и до конца. Папа принёс самоучитель игры на рояле, сборник народных песен и отдельные ноты. Я смотрел на них с большей жадностью, чем лисица на виноград, но понял, что для того, чтобы их услышать под своими пальцами, нужно учиться.

Легко разобрался с нотами, ключами, бемолями и диезами и мог, отсчитывая от ключевой линейки, узнать, где какую клавишу нужно нажать. Из самоучителя я знал, что для того, чтобы научиться играть пьесы, нужно сначала играть гаммы. И я начал учиться играть гаммы.

Была зима, из-за разрухи в доме топили только одну печь, кроме кухонной, в маленькой комнате, и в зале было холодно. Я надевал ватный пиджак, садился и пытался играть гаммы. Они были очень скучные, в них не было души.

Ужасно хотелось играть свои любимые, популярные в то время вещи: «На сопках Маньчжурии», «Вы жертвою пали»... Не в силах удержаться, я после непонятных гамм начал пытаться выучить по нотам вещи, которые мне особенно нравились.

Меня очень привлекали загадочные слова в нотах Вергинского:

*Я не знаю, зачем и кому это нужно,
Кто послал их на смерть не дрожавшей рукой,
Только так беспощадно, так зло и ненужно
Отпустили их в вечный покой.
Осторожные зрители молча кутались в шубы,
И какая-то женщина с искажённым лицом
Целовала покойника в посиневшие губы
И швырнула в священника обручальным кольцом.*

.....
*И никто не додумался просто встать на колени
И сказать этим мальчикам, что в бездарной стране
Даже светлые подвиги — это только ступени
В бесконечную пропасть к недоступной весне.*

Я тогда не знал, что эта вещь называлась «На смерть юнкеров», не знал, что юнкера были оплотом Зимнего дворца в октябре 1917 года, и думал, что они погибли на войне. Но уже первые такты рыдающих аккордов, которые мне с трудом удалось выучить и услышать, не оставляли меня в покое. С тех пор таинственная сила неудержимо влекла меня к запретному Артисту только что разрушенного Серебряного века — расцвета России.

Странное дело, я мог сыграть отдельные такты, а в целое их собрать и продолжить двумя руками никак не мог, и долго, до самой весны, в холодном пустом зале возникали и замирали одинокие, разрозненные ноты и аккорды.

Изо дня в день и из года в год в нашем доме был один и тот же порядок. Размеренный ритм придавал какую-то упорядоченность всей жизни и наполнял быт особым уютом и покоем.

В революционную разруху наш дом был единственным, который сохранил свою обстановку и уют.

Папа подчёркнуто смело ничего не прятал — его совесть была чиста. К нам часто приходили знакомые: старшие — вздыхать о старом времени и охать на окружающую действительность, молодые — повеселиться и потанцевать под граммофон.

Однажды был погожий летний вечер. Жар спал, все ожили. Мы, дети, и мама с кем-то из женщин пошли гулять в поле, «за сад». Наслаждались вечерней благодатью, тем густым степным ароматом, которого уже нет чуть севернее Ливен.

Кто-то из нас обратил внимание на странный непрерывный звук, вроде полёта шмеля. Звук медленно усиливался, становилось ясно, что он идёт откуда-то с большака, с ливенской стороны. Все встревожились непонятностью. Мы, дети, побежали к большаку. Пока пробежали полкилометра, звук стал громким гулом. По большаку двигалось облако пыли и ещё что-то в нём. Гул нарастал, приближался к нам, и мы замерли в удивлении: в клубах пыли скрывался... автомобиль! — и уже исчезал за бугром перед въездом на Дворню. В то время глушителей не было или их выключали для экономии топлива.

Вскоре история повторилась. Теперь, услышав гул, мы завопили: «Автомобиль, автомобиль!» — и побежали на большак.

На этот раз дело обернулось чудесным образом. Часа через два после того, как проехал автомобиль мимо нас, мы снова услышали гул, и автомобиль подъехал прямо к нашему дому. Ему открыли ворота, и он въехал на наш двор.

Приезжие пошли в дом, а мы, как очарованные, изучали это великолепное чудо — открытый легковой, как теперь говорят, автомобиль коричневого

цвета, сверкающий никелем. Я его нарисовал акварелью.

Однажды к нам, как в гостиницу, прислали молодого, серьёзного, вежливого и сдержанного мужчину в кожаной куртке, как тогда ходило большинство коммунистов и просто граждан. Это был товарищ Цауне, латыш. Приехал из Орла. Мама постелила ему на нашей деревянной кушетке в столовой, и скоро он ушёл в исполком.

Меня заело любопытство. Я зашёл в столовую, почему-то полез под подушку и обнаружил там настоящий новый наган, в то время основное оружие этого вида. Он обворожительно синел воронёной сталью. Я начал его вертеть и смотреть, будучи достаточно образован, чтобы не нажать собачку. Наган не открывался на шарнире, как папин «Смит и Вессон», у него был шомпол, а пули были спрятаны внутри патронов. Дрожа от боязни не успеть до прихода Цауне, я начал рисовать красавца, не жалея берлинской лазури.

В следующий раз у нас остановился другой комиссар. История в точности повторилась, но на этот раз под подушкой револьвер был совсем не такой. Он был плоский, без барабана. Я вертел его, разглядывая, потянул скобу — и вдруг... к моему ужасу, он рассыпался. Верхняя часть ушла назад, из ручки выскочила обойма с патронами и пулями на концах. Но было не до любопытства. Как собрать револьвер и укрыть следы преступления?

Дрожащими руками мне удалось всё поставить на свои места. Упала с плеч тяжёлая гиря. Теперь было не до рисования. Я поспешно спрятал револьвер — это был браунинг — обратно под подушку.

Оба мои проступка остались незамеченными.

А ещё раз у нас остановились сразу двое. Один из Ливен, начальник УФО (уездный финотдел исполкома) по фамилии Катасонов, а другой — из Орла. Катасонов, невысокого роста, самодовольный, в красной рубашке. Орловец — высокий, худой, молчаливый, как сильно уставший, но всё же приветливый человек. Папа потом сказал нам, что это бывший рабочий. Он всем понравился. Они сидели с нами за столом в зале, обедали и разговаривали.

Через несколько лет я узнал, что вскоре после этого Катасонов забрал всю кассу Ливенского банка и с ней исчез. Его поймали в Одессе.



*Братья Булгаковы с двоюродной сестрой Таусией.
1924 год*

Родной чернозём

Получение нашей семьёй надела обязывало обрабатывать всю эту землю. Нужно было перестраиваться на крестьянский образ — если не жизни, то работы.

Папа был вечно занят в лечебнице, мама же, хоть она тоже никогда не занималась сельским хозяйством, любила труд и загорелась энтузиазмом делать все полевые женские работы.

Мы имели лошадь, но не имели никакого сельскохозяйственного инвентаря. Дмитрий получил землю, но у него не было лошади, зато нашлась соха и две бороны, железная и деревянная. Сам он тоже был занят службой санитаром ветлечебницы. И у нас сложилось своеобразное товарищество, просуществовавшее до самого отъезда родителей из Волово в 1928 году. Дмитрий выполнял себе и нам все мужские сельскохозяйственные работы на нашей лошади и своём инвентаре. Папа для этого отпускал его из ветлечебницы, выполняя при необходимости за него функции санитаря. Женские работы выполняли жёны с детьми раздельно, каждая на своём наделе. Бедная Птичка из рысака была разжалована в обыкновенную крестьянскую лошадь.

Скоро созрела богатая поляковская пшеница, которая досталась нам вместе с наделом, и наступила рабочая пора её уборки. Пшеницу косил Димитрий своим крюком. Крюком у нас называли косу, усовершенствованную для уборки хлебов. Её рукоятка была не просто палкой, а имела деревянные пальцы, параллельные косе. При размахе косы пальцы собирали на её лезвие стебли пшеницы и переносили их в рядок слева от косара.

Вязать снопы научилась мама. Ей помогала Матрюща. В белых платочках они вязали снопы, а я с большой гордостью переносил их и складывал в крестцы.

Чтобы связать сноп, мама брала горсть ржи,ставляла её другой горстью, скручивала в жгут, собирала из скошенного валка сноп и связывала его жгутом. А крестцы складывали так: четыре снопа крестом колосьями внутрь в три слоя — двенадцать снопов, а наверх клали тринадцатый. Четыре крестца составляли копну. Урожай мерили копнами — сколько копен с десятины.

Убирать хлеб была не такая уж лёгкая работа. Палило солнце, ныла спина, за воротником кололись остья от колосьев. Но было приятно видеть, как поле очищается от скошенного хлеба и как растут копны.

Потом приезжал Димитрий и грузил снопы на телегу. Я их подавал вилами, а он стоял на телеге и укладывал их так, чтобы они дорогой не рассыпались. Подавать тоже было тяжело, особенно к концу, когда воз вырастал. Зато приятно было ехать на верху воза.

Потом хлеб нужно было молотить. Некрасов писал:

Но веселей нет поры обмолота.

Лёгкая, спорится дружно работа,

*Вторит ей эхо лесов и полей,
Словно кричит: поскорей, поскорей!*

Лёгкая — не сказал бы, но весёлая — это верно. Вероятно, потому, что это был итог жизни хлеба от сева до уборки, с вечными тревогами: «А когда же наконец будет дождь?» или «Господи, хоть бы дождь перестал — хлеб пропадёт на корню!»

Мы молотили не вручную, цепами, а конной молотилкой. Конная молотилка была у нашего соседа кулака Галактионова. Теперь он молотил вскладчину хлеб всем желающим, которых было много, за плату десятой части урожая. Желающие свозили свой хлеб к нему, складывали на его току в скирды и по очереди молотили. Четыре лошади ходили по кругу и крутили через водила зубчатую передачу и длинный железный вал маховика, а маховик через ременную передачу крутил барабан с железными зубьями на нём и на неподвижной станине.

Старший сын соседа Василий был тут главным — он подавал снопы в барабан. Ему их подносили обычно женщины, он брал, сбивал обвязку, и, распушив сноп, подавал в барабан. Гул барабана чуть утихал от нагрузки, потом, пропустив сноп, взвизгивал, от барабана летел сплошной веер зерна, половы и соломы. Зерно ложилось ближе всего, за ним — полова и солома. Женщины в платках, пряча глаза от летящего пыльного месива, граблями отгребали в сторону, сортируя, зерно, полову и солому.

Лошадей погонял младший брат Василия Пётр. Он стоял на площадке в центре и, переступая с ноги на ногу, вращая над головой кнудом, покрикивал на лошадей, чтобы они тянули равномерно. Переступал он ногами, чтобы не кружиться вместе с водилами и ло-

шадьми, а более или менее сохранять своё положение. Это тоже было непросто, утомительно, и мальчишки считали за честь, когда им доверяли это сложное дело.

Моя же роль сводилась к самому привлекательному делу — стоя на верху стога, сбрасывать вниз снопы. Это тоже было не так-то легко, ноги утопали в снопах, сверху жарило солнце, спина ныла. Но чувство гордости превозмогало всё, и когда приходили сменить или перевести на более лёгкую переноску снопов, было очень обидно: понижение в должности.

Иногда приходит в голову вопрос: было ли это эксплуатацией соседом нас? С одной стороны, он выступал как капиталист — владелец средств и орудий производства, молотилки. Но с другой стороны, в работе использовались не только его лошади — самую трудную работу выполняли его сыновья и две дочери, которые работали почти с рассвета до заката. Они тоже имели право на оплату своего труда. И как выручала всех его молотилка! Едва ли не половину села.

С весны начались новые заботы. Нужно было приготовить почву. Пахал сохой Димитрий, а боронил — или, иначе, скородил — я. Сидя верхом на лошади, я следил за тем, чтобы борона, проходя дорожками по спирали или ряд к ряду, дробила куски земли без огрехов, то есть пропусков. Это была, конечно, почётная работа.

Потом сажали картошку, свёклу — тут мне тоже приходилось работать сполна. Особенно когда мама вводила с собой в поле свёклу полоть.

Наш надел был недалеко от дома. Приходим, находим нашу свёклу — пока это сплошной сорняк: лебеда, много милых синих васильков и белой ромаш-

ки. Густой аромат цветов. Мама показывает мне грядку и как надо полоть, как узнавать свёклу — маленькие, в несколько листочков, ростки. Грядки длинные — от межи до межи тридцать сажень (больше 60-ти метров). Присаживаемся на корточки, из бурьяна виднеется мамин белый платок, завязанный углом по-деревенски. Печёт солнце, кусаются комары, мухи, иногда налетит овод. Выдёргиваю травинку за травинкой, а мысли живут своей жизнью. С тоской думаю, когда же можно будет заняться своим настоящим делом. Попалось толстое стекло — наверное, дно от стакана, в котором углубление вроде розетки. Вот если бы в него налить расплавленного свинца, получилась бы коническая шестерня. Что бы из неё можно было сделать интересное?.. За этими навязчивыми мечтами проходит время, и, оглянувшись назад, видишь чёрную землю, на которой тянется стройная линия ростков свёклы. Как-то делается легче. Смотрю в другую сторону — а конец грядок ещё далеко-далеко...

Безплодные мысли надоедают, уже ни о чём не думается, и только руки машинально дёргают травинку за травинкой. Слабое чувство облегчения приходит, только когда смотришь на чистые грядки — свою и мамину.

И вдруг мама, посмотрев на солнце, говорит:

— Ну, на сегодня довольно, пора обед готовить, пойдём.

Встаёшь, ощущая приятную боль в коленях и пояснице. Наконец-то снова можно заняться своим делом, если мама не попросит стереть лук с яйцами на любимую крошку. Но это недолго.

На следующую осень убираем не только рожь, теперь уже свою, но и свёклу: огромные клубни

кормовой, длинные тонкие — сахарной, целые вozy картофеля.

Ранняя осень. Пасмурно. Безветренно. Низко свисли тёмные облака. Неторопливо моросит мелкий тёплый дождик. Про себя беззвучно напеваю:

*Не осенний мелкий дождичек
брызжет, брызжет сквозь туман...*

В поле на участке, который нам выделили для застройки, я, почему-то один, занят уборкой свёклы. В ватном толстом пиджаке уютно — пиджак намочнет, но не насквозь, «до нитки», станет тяжёлым и к утру высохнет у печки.

Несмотря на дождик, на душе уютно, хорошо. Погода приятно успокаивает какой-то особенной непроницаемой тишиной. Будто небо опустилось, снизилось до земли и накрыло её мягким, тёплым, как ватное одеяло, колпаком. Все звуки затихли — приблизилось и стало слышно только то, что совсем рядом.

К десяти годам, а может, и раньше, я уже полностью овладел уходом за лошадьёу, нашей Птичкой, с белой звёздочкой на лбу. Умел её чистить двумя инструментами сразу: в левой руке — мягкая щётка из конского волоса, в правой — скребок, тоже вроде щётки, но из чередующихся железных пластинок: одна — гладкая, другая — с мелкими зубчиками. Правой рукой я чистил, а левой приглаживал волосы Птички до блеска. Она терпеливо стояла, изредка одобрительно косясь одним глазом, как бы спрашивая: скоро ли кончу?

Утром, если Птичка не уезжала, я выводил её в поле кормиться на пару. Стреноживал, предварительно погладив её по шее для осторожности, чтобы она не обиделась, когда буду её спутывать — надевать на передние ноги короткие верёвочные путы, из-за которых она могла идти только мелкими шажками или прыгать галопом. Вечером приходил за ней, распутывал, верхом приезжал домой и ставил её в денник в конюшне.

Очень я любил запрягать лошадь. Тщательно соблюдал все правила, копируя папу и Димитрия. Заводил лошадь задом между оглоблями, лежащими на земле, надевал через голову хомут, заправлял шлею под хвост, пропускал через седелку черезседельник, завязывая его за оглоблю, ставил, цепляя за гужи хомута, дугу и, упершись в клещи хомута, стягивал их супонем из сыромятного ремня, картинно задрав ногу и гордясь, что я уже настоящий мужчина. Потом внимательно проверял полученное устройство: чтобы хомут не слишком нажимал на холку, иначе, не дай Бог, получится нагнёт холки, очень трудно заживающая рана — это я хорошо знал от папы, — и не слишком сдавливал горло лошади снизу, чтобы ей было легко дышать — эта ответственная задача решалась регулировкой затяжки черезседельника. После этого я вставлял в рот бедной лошади железные удила, разжав его нажимом у шарнира челюстей, закреплял в удилах вожжи и продевал в кольцо дуги повод, завязывая его конец за оглоблю возле хомута.

Теперь оставалось сесть на телегу, или дрожки, или сани — и править. Править лошадью тоже надо уметь, особенно когда спускаешься под гору или переезжаешь речку вброд.

Моя крестьянская работа на лошади ограничивалась только перевозками хлеба в снопах, сена или навоза, да ещё я боронил поле. Пахать сохой было мне не под силу, а плуга у нас не было, даже самого простого однолемешного.

В моих отношениях с лошадьми, даже с умницей Птичкой, не всегда было всё просто и благополучно.

Птичка не была верховой лошастью, никогда не ходила под седлом, и я не научился ездить на ней верхом рысью. То ли у меня не было чувства ритма, то ли у неё была особая не верховая «походка», но я мог ездить на ней только шагом, то есть слишком медленно, или галопом, то есть слишком напряжённо быстро.

Однажды произошёл случай, который мог стоить мне если не жизни, то увечья. Был серый осенний день. За садом паслась Птичка. Я пошёл за ней. Там были ещё чужие лошади. Я спокойно распутал Птичку, сел на неё верхом и поехал, но тут чужая лошадь понеслась галопом впереди, Птичка за ней рысью. А при рыси, в отличие от галопа, седока подбрасывает. Я к этому не был подготовлен, с ужасом чувствовал, что высота моих подпрыгиваний явно растёт, за гриву удержаться невозможно, и я принял смелое решение — спрыгнуть на полном ходу, чтобы не попасть под ноги, если меня сбросит она сама. Изловчившись в один момент, когда она меня подбросила кверху, я, насколько мог, увеличил толчок с уклоном в бок и упал на мягкую пашню, мимо промелькнули ноги Птички, и она, умница, сразу остановилась.

Скоро папа решил продать нашу любимицу. Мне тогда было непонятно, как у отца сочетались нежные сердечные чувства и решительная воля скрывать их,

когда этого требовали обстоятельства. Так и теперь, когда я начал ныть, что жаль продавать Птичку, папа спокойно объяснил:

— Птичке скоро двадцать лет, это лошадиная старость, а нам приходится пахать землю сохой. Это не под силу кровному рысаку.

И я пошёл прощаться с Птичкой. Дал ей на ладони, чтобы нечаянно не прикусила пальцы, несколько кусков сахара. Она осторожно взяла их своими большими мягкими губами. Я всматривался в её лошадиное лицо, стараясь запомнить глаза и постоянно движущиеся уши, по которым можно всегда понять душевное состояние лошади, но она ведь ещё не знала, что скоро покинет свою родную конюшню. Я про себя мысленно прощался словами, а мне очень хотелось слёз, но их почему-то не было.

Через год или два соседи рассказывали, что кто-то проезжал мимо нашего дома, и его лошадь упорно тянулась головой к нашим воротам. Мы поняли, что это была наша Птичка.

Вместо вороной Птички у нас появилась Буланая. Это была не породистая, сильная и крепкая лошадь. Основными, ярко выраженными отличиями её от чуткой Птички были невозмутимая флегматичность и лень. Чтобы заставить её перейти с шага на рысь, можно было охрипнуть от крика: «Но, проклятая!», — а для Птички было достаточно опустить вожжи или шевельнуть ими. Много кнутов истратили мы на Буланую, но она была неисправима. Если её слишком сильно хлестали, брыкалась и останавливалась.

Из-за этой Буланой мы с Володей совершили тяжкий проступок.

Дело было так. Буланая паслась на лугу у безымянной речки, возле которой жил Димитрий. С утра

выяснилось, что в Борки, за двадцать километров, нужно отвезти детей врача Лидии Михайловны. И нас с Володей послали сбегать за Буланкой с наказом: привести её срочно, чтобы успеть в Борки и обратно. Мы быстро дошли до лужка — около полукилометра, — но, когда увидели воду, нам нестерпимо захотелось окунуться в прохладу мелкой речушки, всего в километре от родника, где она начиналась. Соблазн был столь велик, что я сказал Володе:

— Окунёмся быстро и поедем.

Окунулись лёжа, такая мелкая была речка на самом глубоком месте. Начали брызгаться, барахтаться, играть и не заметили, как солнце довольно далеко ушло с зенита.

Вдруг появился Димитрий, передал нам всё возмущение родителей и приказание немедленно доставить Буланую. Мы, удивившись, что так быстро накопилось столько времени и нашей вины, сели верхом на Буланую: Володя впереди, я сзади, — и поехали домой в тяжёлом ожидании строгого возмездия.

Корова наша, Маша, была спокойная добрая симменталка, светло-бежевой масти с редкими белыми пятнами. Симменталки — это не самая молочная порода, полумолочная-полумясная, но мама надаивала полное ведро молока, наливала нам по стакану парного, давала его с ломтем чёрного хлеба. Что может быть ароматнее и вкуснее!

Летом, ещё на рассвете, я слышал сквозь сон, как мама вставала и выгоняла корову нашу за ворота к стаду, которое собиралось пастухом. Пастуху платили сообща, а кормил его по очереди каждый дом.

В тяжёлые годы разрухи зимой стало нечем кормить Машу. Погоревали, погоревали и продали за

семнадцать пудов муки. Тогда валютой были не бумажные «лимоны», а пуды и фунты хлеба, то есть ржи. Вместо коровы купили козу — её легче было прокормить. Козье молоко сначала казалось приторно-сладким, но мы к нему быстро привыкли, а коровье стало казаться водянистым.

Ещё у нас было много кур. Ночью они спали в курятнике на шестах, и я удивлялся, как они, сонные, не падают. А весной мама сажала наседку в кухне на корзину под скамейкой — там она усердно сидела, изредка наспех вылезая поклевать корму.

Несколько лет мама водила индюшек. Они были всегда чем-то недовольны, обиженно вытягивали шеи и косились вверх, поворачивая голову то в одну, то в другую сторону. Может быть, они боялись ястребов?

Водили японских гусей. Это были гуси как гуси, только не белые, а тёмно-серые. Водили их вместо русских белых, потому что они не требовали воды, которой у нас не было.

Водили и свиней, но я их не любил. Интересно было смотреть только на поросят: как они лезли друг на друга, к материным соскам, а потом — к корыту с кормом.

Любили мы наших друзей — собак. Их было две нечистопородных: фокстерьер Белка, чёрная с коричневыми пятнами, и такса Кундри. Они жили в своём домике — совсем настоящем, с двухскатной крышей, только без окон.

Хлеб пекла мама сама из ржаной муки. Утром сквозь сон я слышал, как она долго и трудно его месила руками, засучив выше локтей рукава, в большой, раза в два шире ведра, кадушке-деже, как делала из теста большие круглые караваи и сажала их в нашу

жарко натопленную русскую печь на капустные листья. Потом вынимала караваи из печи, взволнованно проверяла, пропеклось ли тесто и не получилось ли закала, что могло случиться, если под печи не было достаточно прогрет. Но хлеб всегда оказывался хорошим — вкусным, ароматным — настоящий русский чёрный ржаной хлеб, которого, уехав из Волово, я больше никогда нигде не ел. Да и в Волово с неурожаями от засухи к нему стали добавлять сначала картошку, потом лебеду, от которой он становился чёрным и вязким.

Летний день проходил незаметно в знойной исто-ме, но к вечеру жизнь просыпалась.

Перед закатом по большаку прогоняли стадо, от которого отделялась наша корова. Мама встречала её, загоняла во двор и садилась доить. «Дзинь-дзинь», — струилось молоко.

Не без опаски я проносил в денник лошади мимо её крупа корм: в лучшие времена — лошадиные деликатесы: сено и овёс, а в худшие — соломенную резку, политую водой с отрубями, пока они ещё были.

Нужно было собрать птицу: кур, индюшек. Закрыть курятник, замкнуть каретный сарай и сделать другие мелкие ежедневные дела.

Наконец, когда всё было кончено, мы шли домой. Ещё засветло лампы наливались керосином и протирались стёкла, а теперь, войдя в полутьме в кухню, чиркали спичкой и зажигали огонь. И происходило чудо: сумеречный вечер мгновенно превращался в ночь. Окна становились чёрными, в них ничего не было видно, а в комнате было светло от лампы.

Ужинали обычно в кухне. А после ужина выходили во двор.

Через всё небо, усеянное мириадами ярких звёзд, проходила дорога Млечного пути. Искали знакомые звёзды и созвездия. Находили Полярную звезду и Венеру, а ещё — красноватую Арктурус. Володя очень увлекался звёздами — прочитал Камилла Фламариона «Занимательную астрономию» и знал множество созвездий.

А потом, с приятным чувством лёгкого утомления и сознания законченных дел, шли в спальню и ложились спать.

11

Разруха

Радостное опьянение первых месяцев революции проходило, и жизнь всё более усложнялась и утяжелялась. Разруха росла. Всё туже становилось с продуктами, постепенно исчезали сахар, керосин, соль, чай, промтовары. Люди стали приспосабливаться: использовать местные ресурсы, остатки старой одежды и другого добра.

Деньги непрерывно падали в цене. Сначала были «керенки», всего двух достоинств: двадцатки и сороковки. Потом стали считать на тысячи и миллионы, которые фамильярно звали «лимонами» и носили в мешках. Зарплату папе платили редко — в Ливнах, когда он туда ездил. Там он получал паёк — овсянку. Мама варила из неё кисель. Сначала он казался неприятным, кисловато-пресным, потом привыкли. Но и его давали редко.

В фольклоре появилась новая поговорка: «За что боролись, на то и напоролись».

Остряки стали петь:

Отречёмся от серого мыла

И не будем мы в баню ходить.

В 1918 году наступила эпоха военного коммунизма. Всё было национализировано. Все виды частного предпринимательства, даже самого мелкого кустарного, а также торговля, были запрещены. Из магазинов была открыта только лавка ЕПО, про которую бабы говорили: «В епе ничего нету». Что-нибудь заказать сделать или купить можно было только нелегально «из-под полы». Этим, на фоне натурального самообслуживания, и поддерживалась жизнеспособность населения.

На хлеб и другие сельскохозяйственные продукты была наложена продразвёрстка. Налоговый инспектор Якобсон устанавливал урожайность в поле ещё до колошения. По этим планам и взыскивали продразвёрстку, не обращая внимания на то, что уродилось на самом деле. Крестьяне, конечно, часть урожая старались утаить, спускали в подполье, зарывали в землю, прятали мешки хлеба в стогах соломы, где их прощупывали штыками.

Главную роль в сборе продразвёрстки выполняли комбеды — комитеты крестьянской бедноты, организованные декретом от 11 июня 1918 года и фактически отобравшие власть у Советов в пользу парторганов.

У нас председателем комбеда стал хромой портной. Он был знаменит своим басом — пел в церковном хоре, потрясая своды храма, и ни одна уважающая себя пара не венчалась без его пения и чтения со словами жена да боится своего мужа. Он был, вероятно, единственным в Волово и неплохим портным, и к бедноте (видимо, и к партии) имел довольно отдалённое отношение. Так как он хромал на одну ногу, то ездил верхом, и мне до сих пор видится его ширококостная фигура с короткой шеей типичного баса

верхом на лошади с нагайкой в руке, объезжающего дворы и выбивающего развёрстку. Видимо, в этом ему сильно помогал бас.

Когда комбеды выполнили свою задачу, портной вернулся к своей обычной жизни, не исключая и пение в церковном хоре.

С «буржуазии» — то есть у нас, практически, с торговцев — брали «контрибуцию». Из домов начали исчезать обстановка, одежда: частью на контрибуцию, частью на питание, на чёрный рынок, частью пряталась в «подполье».

Сами мы ничего не прятали, и обстановка сохранялась у нас без перемен, чему радовались, приходя в гости, «экспроприированные». Но папа по своей доброте выручил семью отца Андрея, спрятав их ценные пожитки. Димитрий сбил для этого из досок большой ящик. Туда они наложили свои вещи — я их, конечно, не видел, — забили и спрятали на чердаке под сеном. Это было рискованно, но папа был смелый, а может быть, и надеялся на свой авторитет и хорошее отношение к нему власти. И, действительно, всё обошлось.

Начали исчезать люди. Некоторых забирали, другие куда-то уезжали. Например, сын нашего пекаря Сергей Алексеевич Дроздов, тихий мужчина лет тридцати со стеклянным глазом, тайно скрывался в Ельце, ведь его отец «Виденеич», Алексей Венедиктович, благообразный старичок с седой бородой, был местный «буржуй» — имел хлебопекарню, кормившую хлебом всё наше село: чёрным с лёгким винным ароматом, белым пышным ситным, мучнистыми калачами, французскими булочками с поджаристой коркой.

Всё чаще слышался гнетущий ужасом шёпот: «Берут заложников», — то есть мирных жителей из «буржуазии», не исключая женщин и детей. Смысл происходящего я тогда плохо понимал, но знал, что их берут в залог, чтобы расстрелять при случае — например, восстания.

Однажды такая опасность быть арестованным возникла для отца Андрея. Видимо, он считал, что спасётся, если скроется ненадолго. И папа спрятал его.

В конце нашего коридора, там, где была глухая перегородка на фельдшерскую половину, у нас была уборная — тупик коридора, отгороженный стенкой с небольшой дверью. Рядом стоял умывальник. И папа посадил отца Андрея в уборную, дверь закрыли и замаскировали вешалкой с одеждой.

Это было не так уж надёжно. Внимательный глаз легко бы заметил, что тупик коридора — не настоящий, а перегородка — из досок, их швы были хорошо видны выше вешалок. Всё это делалось, конечно, втайне от меня. Я не видел, как прятали отца Андрея и как он выходил оттуда — меня удаляли. Пробыл он в «подполье» недолго, но его спасли.

Ходили слухи о крестьянских восстаниях. Тётя Маруся рассказывала, что Павел Вуколов ехал во главе восставших крестьян, гарцуя на белом коне. Когда восстание было подавлено, Павел исчез из поля зрения, а потом, когда всё улеглось, он заявился в Ливенский уездный военный комиссариат и предложил свои услуги в качестве военспеца — офицера. Лицо Павла показалось кому-то в военкомате подозрительным, и его спросили:

— А это не ты руководил восстанием — такой же был мордастый?

Павел, ничуть не смутившись, возразил:

— Мало ли мордастых на свете.

Ему поверили и назначили командиром Ливенского Всеобуча (Всеобщего военного обучения).

В таком романтическом свете запомнились мне впечатления от далеко не простых событий первого года советской власти. В действительности, положение было гораздо серьёзней, как я об этом узнал через много лет из официальных источников⁴.

Мельницы, ветряные и водяные — собственность Баранова, Колобашкина — закрыли. Хлеб стали молоть в глубокой конспирации на самодельных домашних мельницах где-то в «подполье» — в погребках, замаскированных углах сараев.

Мельницы эти делались так. Два кругляка, отпиленных от толстого дерева, набивались с торцов,

⁴ Мелкие крестьянские мятежи происходили с конца 1917-го года. За 1918 год только в двадцати губерниях Центральной России вспыхнуло 245 крупных антисоветских мятежей.

В 1918 году в Ливенском уезде восставшие организовали пять отрядов, численностью около 5000 человек при восьми пулеметах. 18 августа заняли Ливны, там «пала на короткий миг Советская власть». Для подавления восстания из Курска был направлен бронепоезд, а из Орла — Первый Железный полк с артиллерией и интернациональный отряд Губчека в 49 человек.

Восстание было рассеяно, «белогвардейцев выбыло убитыми свыше 300 человек», каратели «потеряли свыше семидесяти товарищей».

Ленин прислал телеграмму: «Ливны исполкому... Ответственную энергичное подавление кулаков и белогвардейцев в уезде... Необходимо... конфисковать весь хлеб и всё имущество у восставших кулаков, повесить зачинщиков... арестовать заложников...»

вдоль волокна, заподлицо с поверхностью осколками чугуна от посуды или, главным образом, от стаканов снарядов, которых у нас с начала гражданской войны хватало. Один кругляк ставили на другой, чугуном друг к другу. В верхнем кругляке делали отверстие, в него сыпалось зерно, и его вертели. В результате этой муки получалась мука.

Спички исчезли. Повсеместное применение получил древний способ добывания огня с помощью кремня (кремня), огнива (куска стали) и трута из ветоши, загоравшейся от высекаемых искр. Появились зажигалки. Их делали на заводах рабочие из гильз ружейных патронов, чтобы обменять на хлеб.

Кофе стали делать из желудей там, где росли дубы. Чай чаще всего делали морковный — заваривали сушёную морковь. Сахара не было совсем, мёд был редкостью. Первое время продавали из-под полы таблетки сахарина, явно доставляемые из-за рубежа спекулянтами, — продукт из нефти, сладковато-горьковатый.

Из-за отсутствия мануфактуры в моду вошёл пролетарский стиль — хромовые кожаные куртки. В них ходили «вожди»: Троцкий, Свердлов, Бухарин, — большевики и не только большевики. Мне тоже достали кожаную куртку. Ещё у «товарищей» в моде были галифе — чем шире, тем модней. По той же причине отсутствия мануфактуры появились комбинированные галифе: протёршиеся колени и заднюю часть зашивали кожей. Кожу поставляла деревня. Кустари не разучились выделывать кожи, делали это подпольно.

Лучшим заменителем летней обуви стали матёрчатые туфли на верёвочной подошве. Из картона вырезали подошву, окантовывали её полоской материи

и суровой ниткой пришивали к ней спиралью, виток к витку, тонкую, из пеньки, верёвку.

Зимой же ходили если не в чунях, то в валенках. Овец у нас водили много, а валенки валяли нелегально местные умельцы-кустари.

Конопля не только одевала нас и кормила густым зелёным маслом, но и освещала. Бумажею или обрезки другой бумажной ткани резали на полоски, в блюде наливали конопляное масло, опускали туда полоски и зажигали. Так освещались мы в длинные зимние вечера. Лучину делать разучились, но в некоторых местах освещались и лучинами.

*И, зимний друг ночей,
Трещит лучина перед ней.*

При военном коммунизме была установлена трудовая повинность. Все должны были работать по специальности. Зарплату не выдавали. По крайней мере, практически её не существовало, паёк был крайне скудным.

В том, как осуществлялась трудовая повинность, я скоро убедился своими глазами.

Однажды, весной 1919 года, из Ливен приехал уездный ветврач — молодой, энергичный, подвижный Николай Иванович Звонков. Он привёз какой-то странный чертёжик: будка с воротами, а в них — два овальных отверстия. Энергично жестикулируя, Николай Иванович объяснял папе, что есть директива срочно строить камеры для окуливания чесоточных лошадей парами серы, что это экстренное мероприятие — единственное спасение лошадиного поголовья от чесотки. Тракторов ещё не было, и всё сельское хозяйство, весь местный транспорт держались на лоша-

дах. Но от голодной зимы лошади отощали, и это способствовало массовому заражению их чесоточным клещом. Клещ разводился под кожей лошадей, шерсть выпадала, лошади становились голыми, лысыми, худыми, слабыми.

И вот началось сооружение камеры. Ей отвели место на заднем лечебном дворе. Камера должна была представлять собой бревенчатый каркас, обшитый досками и засыпанный песком. В неё заводили задом двух лошадей и закрывали, просовывая их головы в вырезы в воротах, так что лошади стояли в камере, а головы их оставались снаружи. Рядом с камерой стояла печка, в которую был вмазан чугунок с трубой, направленной в камеру. Печь топили, в чугунок сыпали жёлтую серу, она плавилась, пары шли в камеру, проникали под кожу лошадей и убивали клеща. Лошадей держали минут пятнадцать, потом выпускали, заводили новую пару, и так весь день. Нужно было пропустить почти всех лошадей нашего огромного ветучастка.

Но это всё было потом, а пока на нашем дворе лежали только привезённые откуда-то брёвна и доски. А затем появились два плотника.

Старшим у них оказался Алексей Гармонистов. У него был топор с красиво изогнутой ручкой, отточенный, как бритва. Алексей небрежно и привлекательно ловко играл им, то разрезав щёпочку, то расколол чурочку. При этом он часто держал его не за топориче, а за обух или легко бросал его и вкусно влипал в бревно — ему полагалось жить врубленным в дерево, а не лежать на земле. Всё это привораживало меня к Алексею, и я издали неотступно любовался им.

Они с напарником приходили утром, аккуратно в одно и то же время, в девять часов, садились на

брёвна, лежавшие на сочной низкой траве, разворачивали кисеты с махоркой и закуривали. Покурив, они ложились на траву и засыпали.

Когда солнце начинало подходить к зениту и припекать их головы, они просыпались, чесали затылки, опять садились, закуривали, говорили. Потом доставали тряпочки — в них был хлеб и кусочки сала. Они это поедали, снова закуривали и начинали обсуждать постройку. Обсудив, перекладывали брёвна, иногда пару отёсывали, и день кончался. На другой день происходило то же самое. Дни шли, а на траве лежали всё те же брёвна.

К ним подходил отец, вежливо, но настойчиво уговаривал ускорить работу, объяснял, как важно сделать камеру, чтобы спасти лошадей. Они спокойно слушали, иногда поддакивали. Ненадолго оживлялись, Алексей доставал толстый карандаш, долго и тщательно чертил на торце бревна квадрат, потом закуривал, и они ложились отдыхать. И всё повторялось снова.

Тогда отец позвал плотников в дом, поднёс им по стакану разведённого спирта высшей очистки и сказал:

— Вот что, ребята, пофилонили — и хватит. Делайте быстрее камеру, а то все лошади передохнут, а меня отдадут под суд.

Водки тогда и в помине не было, самогон был запрещён, и плотники не устояли — у них проснулось сознание. Застучали топоры, полетели щепки, и через неделю каркас уже обшивали тёсом, засыпали песком, и скоро камеру открыли. С раннего утра и до самого вечера через неё пропускали лошадей, совсем лысых с паршой, страшно было смотреть.

Так я познакомился впервые с тем, что теперь называется научно «проблемой моральной и мате-

риальной заинтересованности». Но тогда я не догадывался, что мастеру гармоник просто было неинтересно и обидно делать нехитрую плотницкую работу, да ещё бесплатно. Я был поглощён своей заботой — у нас во дворе находился Алексей, который мог бы утолить мою голодную мечту: сделать мне балалайку.

Как-то к нам зашёл Павел Руденский. Мне он казался уже опытным партийным работником.

В откровенной беседе с отцом Павел признал, что военный коммунизм — это попытка построения социалистического строя, «эксперимент», как он выразился. Я обратил на это внимание и запомнил потому, что в официальной литературе объясняли его как меру, вынужденную гражданской войной.

Тяжелее всего разруха переживалась зимой. Отапливаться в наших безлесных местах было трудно. В мирное время наш дом отапливали антрацитом — каменным углём высшего сорта, который привозили из недалёкой Юзовки, теперь Донецка. Утром приносили ящик, полный антрацита, разжигали печь, и казалось чудом, что чёрный блестящий слоистый камень может гореть — да так, что колосники и чугунные дверцы раскалялись докрасна.

С войной и разрухой уголь из Юзовки привозить перестали. Привозили дрова — берёзовые и осиновые короткие кругляки. Их складывали на дворе высокими штабелями. Было интересно сдирать белую пахучую бересту с жёлтой подкладкой или снимать мягкую кору с осиновых поленьев и делать из неё кораблики и разные фигурки. Но скоро перестали привозить и дрова, и тогда начали пилить деревья нашего

сада. Вокруг него шёл ров, а по его насыпи росли большие развесистые ракиты. С них начали, их было не так жалко, как липы, берёзы и тополя.

Народ выкручивался кто как мог. Топили в основном соломой. Когда мы сожгли все ракиты, стали ею тоже топить. Димитрий приносил огромную вязанку соломы и кто-нибудь из нас делал тугие пуки и подавал в печь. Потом наступала ответственная операция «загрести жар» — нужно было следить, чтобы вся солома равномерно прогорела во всей толще огненной золы и чтобы, избави Бог, не оказалось где-нибудь синих огоньков. Если оставалось хоть немного недогоревшей соломы, то после того, как закрывали трубу двумя заслонками, в печи появлялся угарный газ, а от угара страшно болела голова и бывала рвота. Мы всё это пережили на своём опыте, и потому закрывание трубы превращалось в священнодействие, все беспокоились о синих огоньках. Папа редко доверял эту обязанность мне, а мне было обидно, просидев всё утро на корточках, подавая солому, уступать торжественное окончание.

Но когда наступили ещё более скудные времена и солому стали экономить на корм скоту, научились топить смешанным с соломой лошадиным навозом.

Но и это суррогатное топливо приходилось экономить. Зимы у нас были долгие, почти полгода, и морозные. И даже в отапливаемой половине дома было очень холодно.

От холода, недоедания, трудностей с мытьём (ведь для этого приходилось топить сильнее, чем обычно) у нас заводились вши. И перед сном, полуголые, замёрзшие, мы с братом стояли под лампой, искали их и давили.

А днём переходили жить в кухню. На печи были разостланы овчинные полушубки мехом кверху, в углу шуршали тараканы. Потолки были высокие, и на печке можно было стоять. Было тепло, уютно, дремалось... Иногда на печку поднималась и мама. Ставила табуретку, получался столик, за которым она что-нибудь шила.

Но это было днём, а когда наступал вечер, приходилось, собрав в себе мужество, идти спать в холодную спальню.

Изредка, с болью, после долгих колебаний, папа принимал решение спилить в саду ещё одно дерево. После ракич дошла очередь до наших красавцев — огромных серебристых тополей. Их было едва ли больше десятка. Они господствовали не только над ракичами и липами, но и над берёзовой аллеей. Светло-зелёная шапка тополей была видна за много вёрст. И вот красавец тополь лежал на земле. Пень золотел соком. Обрубали ветви, а ствол пилили на кругляки. Вспоминалось:

*Плакала Саша, как лес вырубали,
Ей и теперь его жалко до слёз.*

К этой операции прибегали сравнительно редко, и родители сохранили много тополей.

Но всё это была нормальная жизнь. Совсем плохо бывало, когда начинались болезни. Мы переболели всеми детскими болезнями: корью, скарлатиной, не говоря уже о постоянных ангинах, стоило только промочить ноги. Особенно запомнили повальный грипп особой тяжёлой формы «испанка», он укладывал в постель всех подряд. Было много смертельных случаев. Переболели и все мы, кроме папы. Папа

каким-то чудом продержался на ногах и один кормил, лечил и ухаживал за нами. Сам он вообще никогда не болел. Для подкрепления папа давал нам по чайной ложечке очень вкусного ароматного напитка, который назывался «коньяк Шустова». Где он его только достал?

Страшная эпидемия сыпного тифа не щадила почти никого. У нас в семье тифом болел только я, но в очень лёгкой форме. В борьбе с этой эпидемией заразились и умерли врачи — наши близкие друзья.

Зимние вечера мы проводили за обеденным столом. Справа от окна было папино место, а слева — мамино. Наши с Володей места менялись: за обедом и ужином я сидел рядом с папой, а Володя — с мамой, за утренним и вечерним чаем — наоборот. Место рядом с папой считалось более почётным. Видимо, потому что мы были мальчиками, а может, потому что папа был «авторитетнее».

Вечерами за столом мы занимались разными делами. Мама что-нибудь шила, чинила, штопала. Папа или занимался со мной, или читал газету, или стоял целыми часами у печки, думая о чём-то невесёлом, изредка перебрасываясь отдельными фразами в общем разговоре. Иногда рядом с ним стояли я или Володя.

В таком холоде и полутьме, которые не могли заморозить и затемнить нашего семейного уюта, тянулась долгая тяжёлая зима, и не верилось, что когда-то и ей наступит конец, и придут весна, солнце, тепло, зелёная трава...

Как-то в ранние зимние сумерки мама оживлённо позвала меня из кухни:

— Одевайся скорей, беги на большак!

Я, одеваясь, услышал с большака глухой странный шум. Пока выбежал за ворота, шум утих.

Посередине заснеженной нашей улицы стояла какая-то странная машина на колёсах, а вокруг неё собрались все соседи.

— Трактор «Фордзон», — объяснили мне.

Его вёл из Ливен механик, и против нашего дома он заглох. Это был трактор из первой партии, изготовленной по договору с фирмой Форд, согласно которому он сохранял два или три года название «Фордзон».

Первый, небольшой, едва ли выше телеги, трактор на нашей воловской земле! Безпомощно застрявший в снегу, он показался мне жалким по сравнению с лошадью, которой снега нипочём.

Красные и белые

Где-то далеко на юге бушевала гражданская война. Деникин наступал, красные отступали. Появились плакаты: «Ты записался добровольцем?» — с этим вопросом грозно втыкался в лицо палец молодого парня в будёновке; «Да здравствует трёхмиллионная Красная Армия!»

Помню книжечку «В огненном кольце» со стихотворениями Демьяна Бедного:

*Ещё не все сломили мы преграды,
Ещё гадать нам рано о конце.
Со всех сторон теснят нас злые гады.
Товарищи, мы — в огненном кольце!*

Однажды летним вечером в тишине ранних сумерек за нашим садом слышались топот, шум, крик. Я вбежал в сад и увидел, как через ров перемахнул всадник, а от него бежал — видимо, надеясь скрыться в густых кустах, — молодой растрёпанный и оборванный парень, которого всадник настиг и погнал нагайкой к выходу из сада. Всадником оказался наш военком Веретенников, а парнем, как я потом узнал, — знаменитый дезертир Митька. Ему было лет

двадцать, и знаменит он был тем, что восемнадцать раз убегал из Красной армии, это был девятнадцатый. Каждый раз он скрывался то в подвале, то где-то в сараях, каждый раз его находили, отправляли, а он снова возвращался.

Война явно приближалась. На душе было мутно, но страха ещё не было или он не осознавался. Хотелось думать, что всё ещё далеко.

И вот вдруг в середине лета совершенно неожиданно на большаке видим: со стороны Ливен быстро движется толпа пехоты — красноармейцев.

Наши войска прошли, наступило недолгое затишье.

Как-то утром, в солнечный погожий день, кто-то из ребят сказал:

— Посмотри, что мы нашли.

Оказалось, во рву нашего сада лежал груз. Какой-то мужичок, которому поручено было эвакуировать «Красный уголок», испугался и свалил всё в саду. Там нашли винтовку, два портрета — Горького и Троцкого, и агитброшюрки. Винтовку Вася Смагин спрятал у нас на сеновале, портреты и книжки я принёс домой — мама Горького оставила, а Троцкого сожгла. Брошюрки же положили на папин письменный стол.

На следующий день утром стал слышен гул артиллерийской канонады. Белые обстреливали Волово из села Большое. Снаряды с перелётом попадали в поле за нашим садом. Один из них попал в квартиру врача Юрия Анатольевича Маркова и пробил насквозь простенок его кирпичного, с толстыми стенами, дома. Когда кончился бой, оказалось, что всё поле сзади нашего дома усеяно воронками снарядов, большинство из которых не разорвалось.

Когда был первый обстрел, мама, бледная от ужаса, пряталась за печь возле успокаивавшей её Матрюши и держала меня за руку. А папа взял шестилетнего Володю на руки и гулял с ним не только в доме, но даже и по двору, приговаривая:

— А мы ничего не боимся.

Он говорил, что пока стреляет артиллерия, пули не опасны, а от снарядов всё равно не спасёшься за печкой, и вообще, «чему быть, того не миновать».

Решили, что нужно уезжать. Димитрий запрягал лошадь, папа уговаривал маму ехать без него, так как ему нельзя оставлять лечебницу, мы уже сидели в пролётке, ворота были открыты, мама страшно волновалась, плакала и не хотела ехать без папы, папа раздражался на маму... Кто-то прибежал и крикнул:

— Езжайте скорее, сейчас будут белые.

Папа махнул рукой, и мы поехали с ним по большаку на север, по направлению к Ливнам.

Белые вели сильный артогонь по высотам. Впереди стояла неподвижно цепь красноармейцев. От неё к нам подошёл командир в чёрной кожанке.

— Вы куда?

— Да вот детей увожу от боёв, — сказал папа.

— Куда?

— В Турчановку или в Замарайку.

Это были глухие деревеньки в стороне от большака.

— Туда нельзя, там белые.

— А куда можно?

— В Панино, к северо-востоку от большака, там ещё наши.

Но дорога в Турчановку шла за курганом, в низине, скрытой от Большого, откуда вели обстрел белые, а в Панино — в открытом, простреливаемом месте. Поехали в Турчановку. Командир посмотрел, ничего

не сказал, видимо, понимая, что через час и Панино будет у белых. Через несколько минут его цепь стала отходить в Панино.

Гул стрельбы стих. Въехали в деревню. На зелёном лугу бегали с криком встревоженные гуси, которых ловили солдаты. Они сидели на корточках с винтовками в руках и норовили штыком подколоть птицу. Это были белые.

Мы подъехали к знакомому зажиточному мужику, попросили пристанища. На наше счастье, у него никто не стоял. Он открыл ворота, Димитрий въехал во двор, а мы вошли в горницу и стали приходить в себя.

Нас накормили простым деревенским обедом и уложили спать на широкую деревянную кровать, покрытую стёганым одеялом из разноцветных лоскутов. Кровать уютно пахла чем-то домашним. Я посмотрел картинки в каком-то журнале, потом мы уснули.

Утром вернулись в Волово. Папа волновался за ветлечебницу.

На въезде в село нас встретил патруль. Это были белые. Расспросили: кто, почему и куда уезжали, — но пропустили.

В доме был полный беспорядок. Белые учинили обыск. Знакомые рассказали, что они устраивали допросы. Подозревали, что папа бежал от белых потому, что он коммунист. Но допросы и обыск не подтвердили этого, и они отстали.

На папином письменном столе лежала брошюра, которую мы нашли во рву, раскрытая на том месте, где её читал папа... «Красная армия непобедима, потому что она располагает самым сильным оружием, которое стреляет дальше 420-миллиметрового орудия Берта. Название этому оружию — агитация

и пропаганда...» Но они, видимо, к нашему счастью, не заметили эту брошюру.

Остальное всё было цело. В доме оставалась Матрюща. Ни один снаряд не упал на территорию нашей ветлечебницы, только Вася Смагин обнаружил пулю, которая пробила у них в кухне оконное стекло и крышку чайника и успокоилась на его доньшке.

За Волово шли сильные бои. Село три раза переходило из рук в руки. Перед каждым боем мы уезжали в ближайшие деревушки, но уже с Дмитрием, без папы — он оставался на своём посту в ветлечебнице.

При второй поездке я увидел в синем небе странные белые облачка.

— Шрапнель, — сказал Дмитрий так равнодушно, как будто это и вправду были простые облачка.

Переночевав, мы возвращались, с тревогой ожидая, что нас встретит. Но всё обошлось благополучно, почти никто не пострадал ни у нас, ни в селе.

На третий день боёв Волово снова оказалось у красных. В селе было тихо и безлюдно. К вечеру, когда уже садилось солнце, к нашим воротам подъехал верхом одинокий красноармеец. Спешился, подошёл к маме:

— Хозяйка, нет ли чего поесть? Только поскорее. Мы отступили, сейчас придут белые, я последний.

Мама достала ему из печки горшок с гречневой кашей. Он спокойно, не торопясь, ел, а я волновался, как бы его не догнали белые. Поблагодарил и уехал.

Так мы оказались на территории белых. Но у нас ничего не изменилось. Папа, как и всегда, принимал больших животных, все занимались своими делами.

Некоторые жители из «бывших», вроде попадьи и жён воловских купцов Невзорова и Гревцева, шёпо-

том говорили, что белые уже под Тулой, скоро возьмут Москву и тогда «всему конец». Но папа их высмеивал:

— На что надеетесь? Смотрите: идут белые, за ними — помещики, отбирают землю, порют шомполами крестьян. Разве такая власть может удержаться? Их успех — до «белых мух».

В ноябре прошёл слух, что под Тулой армия Деникина разбита наголову латышскими стрелками. Муж моей двоюродной сестры Марии, дочери отца Егора, тоже латышский стрелок, служил в Кремле в личной охране Ленина. Рассказывал про него, про свои разговоры с Крупской, когда он стоял на часах у дверей их квартиры. Иногда среди ночи приносили срочный пакет, он вызывал Крупскую, и она спрашивала, нельзя ли отложить до утра — Ильич спит. Если нельзя, она его разбудит.

После Гражданской войны муж Марии Егоровны был директором пуговичной фабрики в Москве, а в тридцать седьмом году был исключен из партии и выслан из Москвы.

После того, как армия Деникина была разбита, она быстро отступала на юг.

Осенний погожий вечер. По большаку мимо нашего дома медленно движется казачья конница. Казаки едут шагом, видимо, отдыхая. Я, осмелев, вышел на большак и вплотную разглядываю их. Все они с пиками за плечами. Пики разные: у кого бамбуковые, у кого деревянные, все с железными наконечниками и ремённой петлёй для крепления. Длинные, выше человеческого роста. Наступили холода, и многие казаки укутаны нагребленной гражданской одеждой.

К ночи в наш дом нагрянуло много белых офицеров. Видимо, штаб. Заняли папин кабинет, закрыли

двустворчатые двери в зал, сняли шашки, составили их в углу. Офицеры в погонах были мрачные, в разговоры не вступали. Адъютанты потребовали еды, и мама с Матрьюшей весь вечер и половину ночи жарили им кур. Утром, когда я встал, их уже не было.

На другой день, поздно вечером — очень темно, дождь — зашёл белый офицер и стал требовать пролётку. У нас было две — старая, разбитая, и почти новая, которая стояла в дальнем углу. Папа повёл его в каретный сарай и, зажигая спички, осветил ему разбитую пролётку, спиной закрывая хорошую. Офицер, увидев, что пролётка не годится, ушёл ни с чем.

Как-то летом к нам зашёл новый человек — мужчина лет тридцати, по фамилии Марцинковский, среднего роста, с измождённым лицом, но довольно симпатичный. Он представился папе как студент медицинского института последнего курса. Сказал, что живёт с женой в какой-то соседней деревне, спасаясь от городского голода, и занимается «частной практикой» — лечит население. У него затруднения с лекарствами, и он попросил папу дать ему морфия. Папа дал.

Прошёл с месяц или больше, пришла женщина, назвалась женой Марцинковского и попросила ещё морфия. Папа спросил, почему он не пришёл сам, и сказал, что не может раздавать морфий в то время, когда снабжение ветлечебницы лекарствами почти прекращено. Она расплакалась и сказала, что муж её морфинист, что он был на фронте ранен и в госпитале привык к морфию, что сейчас, когда морфий, полученный у папы, кончился, он находится в ужасном состоянии тяжело больного, что уколы морфия возвращают ему бодрость, что без этого он не может принимать больных и кормиться практикой и что

только папа может спасти их, что, как только они вырвутся из этой петли, он будет лечиться стрихнином и они станут на ноги. Папа дал ещё небольшую дозу, но предупредил, что это последний раз, так как его запасы кончаются.

После мы узнали, что пока эта женщина сидела у нас, муж ждал её за околицей.

Больше они не появлялись, но живой пример трагедии Мар-цинковского, сочувственные разговоры о нём папы с мамой, с её, столь знакомым, страдальческим выражением на лице, просветили меня о вреде и страшной опасности наркомании и наркотиков на всю жизнь, привили рефлекс особой осторожности ко всем видам наркотиков, включая и алкоголь.

Осень, холод, сижу дома на кухне. Вдруг слышу на улице шум, крики:

— Скорее сюда, на большак!

Выбегаю на улицу. По большаку от Ливен бредёт беспорядочная толпа солдат. Отступают последние остатки разбитой армии Деникина. Это уже не первый день. Но теперь невидаль: среди солдат в старых рваных шинелях важно, даже торжественно, выступает... царь пустыни — верблюд. Я его узнал сразу. Огромный, с двумя горбами, между которыми незаметен солдат. Верблюд мерно, как памятник, шагает крупными шагами. На его длинной, изогнутой, как у гуся, шее — небольшая голова с презрительно опущенной губой. Какая судьба привела его из далёких песков Азии к нам в Волово?..

Поздно вечером папа пришёл с Дворни и сказал, что сейчас его нагнали пулемётчики — везут куда-то за село пулемёт, и сказали, что будет перестрелка,

с кем — непонятно. Родители посоветовались и решили спать на полу: дубовые стены пули не пробьют.

Легли спать, и я слышал сквозь сон несколько пулемётных очередей.

Это были последние выстрелы гражданской войны на воловском фронте.

И никто не знал, что такое снова повторится здесь в 1943 году, на Касторненско-Воронежском направлении.

Белые быстро катились на юг, в газетах промелькнули: Перекоп, эвакуация на пароходах из Одессы, великий бег...

*Словно тройка коней оголтелая
Прокатилась во всю страну.*

*Напылили кругом. Накопытили.
И пропали под дьявольский свист.*

(С. Есенин)

Осталось только глубокое раздумье.

Я уже слышал о непримиримости классовой борьбы, но у живых людей видел другое. Гражданская война оказалась буквально братоубийственной: брат шёл на брата.

Почему из двух братьев Цветаевых, сыновей отца Василия и Софьи Алексеевны, молодых ветеринарных врачей, младший, Вася, тихий, несмелый — вот он на фотографии: худой, офицерская форма, как на вешалке, — оказался в Белой армии, а старший, огненно-рыжий Николай, смелый, вёрткий, нахальный — подлинный сын своей матери, самодовольной высокомерной богачки, — служил в Красной армии?

Сын мелкого помещика, земского начальника, Ветчинин Серёжа, служил у красных, а его брат Коля — у белых. Обстоятельства — скорее всего, мобилизация — сделали родных братьев врагами.

Разорившиеся помещики: царский генерал Павлицев и мой крёстный, дворянин Истомин — служили в Красной армии, сын кулака Галактионова, Иван, был красным командиром, членом партии, а мой двоюродный брат Павел Вуколов, сын священника, офицер, ухитрился побывать в обоих лагерях: возглавлял восстание против советской власти, а потом стал красным командиром всевобуча. Когда белые подошли к Ливнам, из курсантов всевобуча сформировали роту во главе с Павлом и бросили в бой против белых. Павел с кем-то из земляков попал в плен, но земляк спасся и потом рассказывал, что Павла раздели догола и повели на расстрел. Так безславно кончилась безрассудная жизнь юноши Павла Вуколова.

Почему так символично-трагически сложилась судьба двух моих двоюродных братьев? Оба они были ровесниками, оба — Павлы, один — сын сестры моей мамы, другой — сын папиной сестры.

Первый — юношей вступил в партию, стал убеждённым, непримиримым большевиком, партработником, достиг поста члена обкома. Второй — юнкер, возглавлял восстание против советской власти, потом был красным командиром.

Первый — коммунист — погиб в советских концлагерях, второй — в белой контрразведке.



1927 год

Мирная жизнь

Несмотря на все вихри бурных событий тех лет, общее настроение, особенно у молодёжи, было бодрое. Молодёжь веселилась и танцевала в Нардоме. Народный дом устроили в одноэтажном здании бывшего волостного правления. В нём сняли перегородки и сделали большой зал со скамьями и сценой, перед которой поставили уцелевший помещичий рояль. Здесь проводились все торжественные и прочие собрания и устраивались вечера танцев под рояль. Очень часто и в обычные дни в Нардоме собиралась молодёжь. Единственным тапёром был Иван Николаевич Ярошевский, воловский виртуоз игры на всех инструментах. Целые вечера он без усталости, низко согнувшись, барабанил излюбленный тустеп, который почему-то называли «карапет» и сочинили под него слова:

*Карает мой бедный,
отчего ты бледный?
Оттого я бледный,
потому что бедный.*

И так без конца. Пары медленно переступали ногами, это могли танцевать почти все. Иногда, когда под-

биралась более умелая компания, Ивану Николаевичу заказывали вальс, и он играл любимый всеми «На сопках Манчжурии», реже — «Дунайские волны», ещё реже заказывали польку. Удивительно, как он мог играть целые вечера почти без передышки, только изредка, не переставая играть, поворачивался к публике, вглядываясь в неё своими близорукими серыми глазами.

Не танцевавшая публика сидела вдоль стен и занималась повальным развлечением того времени — щёлкала семечки, сплёвывая шелуху на пол. Объяснение этому бытовому явлению простое: подсолнухи продолжали сеять, а масло из семян бить было негде — заводы стояли.

Как-то я неосторожно стукнул крышкой рояля. Кто-то сделал мне замечание, вроде того, что надо беречь народное достояние. Вспыхнув от обиды, я немедленно выпалил:

— Снявши голову, по волосам не плачут!

Однажды в Народном доме была поставлена оперетка «Иванов Павел» — о лентяе, который сидел по два года в одном классе, получая одни колы.

*Просидел насквозь все брюки,
выйти не в чем погулять.*

Душой и организатором всего дела была семья покойного дьякона Гончарова. Павла играл старший сын Сергей. Шпаргалку — младшая дочь Варечка. Нашлись роли и для преподавателей. Учитель географии, держа в руках палку-ось, пел:

*Земная ось, земная ось,
Протыкает нас насквозь,
да, насквозь.*

Учитель истории спрашивал:

И какие папиросы

Курит Фридрих Барбаросса?

Павлу дали в руки огромный, с метр, кол, вырезанный из картона.

Шпаргалка была прелестна. В своём платье с широкими рукавами, изящная, со смуглым лицом и чуть раскосыми бровями, настоящая японка в кимоно, она пела, заливаясь, колоратурным сопрано, так что слова понимались с трудом.

В другой раз приезжала труппа, ставила какую-то мелодраму с совращением невинной девушки злодеем — старым ростовщиком и с симпатичным героем-любовником. В антракте он проходил мимо места, где я сидел, без грима и разочаровал меня: артист оказался обыкновенным парнем с симпатичным крестьянским лицом.

Неожиданно к нам заехал духовой оркестр, небольшой, всего из четырёх-пяти инструментов. Он играл на улице марши и вальсы. Духовая музыка наполнила всё моё существо и долго звучала в ушах, чудилась в шуме ветра, когда я бродил по полям. Я старался возможно дольше сохранить эту музыку в памяти. Много лет эти марши нигде не удавалось услышать, разве только в кинофильмах, изображающих то время. Лишь недавно они снова появились в грамзаписи.

Неустойчивое равновесие в жизни нашей семьи и всей трудовой воловской интеллигенции неожиданно нарушилось.

Осенью 1920 года, часов в одиннадцать дня, у нас, в папином кабинете появились «они». Двое в военной форме и столько же — в штатском. Из военных

главным был Пётр Алексеевич Бахтияров — брат председателя нашего волисполкома, начальник Ливенского уполитбюро — уездного политбюро, так тогда почему-то называлось уездное управление ВЧК.

Помню отчётливо: папин кабинет, папа, внешне спокойный, сел рядом с одним из военных к письменному столу и начал открывать ящики и показывать, что в них. Долго читали письма, сохранившиеся с неизвестных времён, и визитные карточки. Их было немного. Военный расспрашивал. Я, чтобы показать, что нам бояться нечего, спросил папу: «А где-то у тебя была карточка...» — и назвал какую-то экзотическую фамилию из папиных закавказских рассказов. Но папа незаметно сжал мою руку, и я понял неуместность своего вопроса.

В нижнем ящике стола лежал бинокль военного образца. Револьвер я заблаговременно и хорошо спрятал на чердаке. Папа объяснил, откуда бинокль к нам попал: нашли во рву сада. Бинокль отобрали.

Бахтияров открыл вьюшки у печки, привстав на цыпочки (в отличие от брата, он был низкого роста), но, конечно, ничего не нашёл. На этом обыск кончился. Позже стало ясно, что он носил больше официальный характер — для проформы.

Только когда они ушли, я с ужасом вспомнил, что на сеновале под карнизом мы с Васей и Шуркой спрятали винтовку, которую нашли во рву вместе с портретами и биноклем, и скрыли это, не понимая, какой опасности подвергли отца и всех наших взрослых.

Вскоре выяснилось, что обыски были у многих воловских интеллигентов: у агронома Альфреда Ивановича Зазевского, обеих учительниц, почтмейстера, — и что все они, включая папу, считаются арестованными и будут отправлены сначала в Ливны, а потом

в Орёл. Папе, в виде исключения, разрешили ехать на своей подводе, и мы все поехали провожать папу.

Ехал целый обоз арестованных с милицейским конвоем, и в этом обозе — наша подвода с Дмитрием в качестве кучера.

Ехали долго, было томительно тоскливо и тяжело на душе, несмотря на то, что обыски были какие-то несерьёзные и отношение властей не враждебное, совесть была чиста, но никто не знал, чем это кончится в то тревожное время. Папа дорогой был спокоен, серьёзен и как-то особенно нежен с нами.

К вечеру, уже затемно, наш обоз переехал мост через Сосну, поднялся на Сергиевскую гору и остановился возле того места, где тогда был кинотеатр, а теперь — театр и сквер, у высокого трёхэтажного дома. Стало непривычно тихо. Все спешили, собрались в толпу, и нам предложили попрощаться. Папа, прощаясь с Дмитрием, сказал ему:

— Ну, Дмитрий, я на тебя надеюсь — не бросай моих.

Арестованных увели в это большое здание. Вскоре их переслали в Орёл, в знаменитый Орловский централ.

Мы вернулись в Волово, и потянулись тоскливые дни тревоги, ожидания и опасных надежд.

Постепенно стали выясняться новые подробности. Оказалось, был арестован ещё учитель в деревне Большая Григорий Александрович Дмитриев. А примерно через месяц-два выяснилась ещё одна совершенно необъяснимая новость: арестован секретарь волкома Василий Семёнович Селищев и даже посажен в общую камеру с нашими. Некоторые предполагали, что его посадили нарочно, чтобы он следил, что будут говорить наши арестованные, «интеллигенция», — но это

было слишком неправдоподобно. Кто доверился бы вчерашнему начальнику, вероятно, имевшему какое-то отношение ко всем арестам?

Ещё через некоторое время пришло известие: секретарь освобождён и появился в своём доме в Мокреце. Секретарём он однако восстановлен не был, и в партии тоже.

Не то маме, не то Матрюше пришла в голову мысль послать меня к нему узнать про папу. Я не сразу преодолел страх и согласился идти только с Матрюшей. Матрюша решила сделать вид, что она нам чужая, то есть не живёт у нас, а только провожает меня, и мы пошли к нему.

Пришли. Постучали. Открыли дверь в хату, я спросил, можно ли видеть Василия Семёновича.

— Я за него, — ответил из тёмного угла мужской голос.

Я растерялся и молчал — где же он сам? Тогда на помощь пришла Матрюша, рассказала, кто я и зачем она меня привела. Тот сказал что-то неопределённое, но успокаивающее, и мы ушли.

К этому времени Димитрий, который оставался нашей опорой, покинул нас без объяснения причин. Хотелось думать, что это из-за ревности его жены. У нас постоянно бывала весёлая Матрюша, а в фельдшерской половине дома жила его первая любовь.

Мне, десятилетнему мальчику, пришлось выполнять все мужские обязанности: колоть дрова, давать корм лошади и корове, провожать маму в осеннюю ночную темноту в конюшню доить корову... Мне, конечно, помогала Матрюша, когда она не уходила к себе домой. Я в душе гордился своим мужским положением, старался быть на высоте и «закалял силу воли».

Мне в детстве нравились люди с сильной волей. Я часто и подолгу думал: почему некоторым людям удаётся обойти, казалось бы, непреодолимые препятствия и всё-таки добиться своего? Героями, привлекавшими в этом смысле моё внимание, были Мартин Иден Джека Лондона, Овод Войнич, капитан Немо. Я старался преодолевать трудности спокойно и не отступать.

А что мой собственный отец, такой мягкий и деликатный, обладал в действительности незаурядной силой воли, только она у него направлялась на себя, а не на подчинение других, я тогда не понимал.

Так прошла тяжёлая тоскливая осень, выпал снег, наступила зима.

Однажды утром мы сидели в кухне, где с революции стали проводить почти всё время. Был солнечный морозный день. Вдруг открылась дверь, и вбежали две закутанные, заснеженные, хохочущие женские фигурки учительниц: Мария Леонидовна и Антонина Ивановна. Их выпустили, и они на пути из Ливен забежали в наш, первый с дороги, дом. Среди радостного смеха они рассказали, что скоро отпустят и остальных. Никакого обвинения не предъявлено, и дело идёт на прекращение.

После этого вернулся к нам и Димитрий. Вероятно, он понял, что скоро отпустят и папу, чего он, возможно, не ожидал, и ему будет совестно, что он покинул нас.

И, наконец, наступил долгожданный день: приехал папа. Все собрались в одной комнате. Он сидел посередине, окружённый нами, и подробно рассказывал всё по порядку о жизни в тюрьме. Говорил, что настроение у него было спокойное, так как он твёрдо

надеялся на то, что недоразумение выяснится и их отпустят. Немало этому оптимизму помогали и характерная папина философия «чему быть, того не миновать», и вошедшие в кровь с молоком матери от религии долготерпение и забота о своих товарищах заключённых, которым он, как потом рассказывали, всем поднимал настроение, а сам читал Евангелие.

Обвинения никому не были предъявлены, на допрос не вызывали.

Скоро освободили и последних из наших заключённых — Григория Александровича и агронома Зазевского.

Постепенно стала проясняться и подоплёка всей этой истории.

Как-то случилось, что папа ехал в Ливны, и его попросили подвезти начальника уполитбюро Петра Бахтиярова, того самого, который руководил обыском у нас, а теперь приезжал в командировку. Дорогой он рассказал папе такую историю (папе, хотя он был безпартийным, почему-то доверяли все, даже секретный агент, осведомитель ЧК, открылся ему).

У сторожа учителя Дмитриева была невеста. Она якобы сочинила на Дмитриева донос, в который включила почти всех знакомых Дмитриева и некоторых знакомых этих знакомых. Наш предвик Константин Бахтияров заявил в органах, что он считает, что ничего такого нет, но как лицо заинтересованное просит отстранить его от этого дела.

Летом 1921 года, рано утром, мама выглянула в окно и обомлела. Через сад бежала беспорядочная толпа народа, все они были вооружены, большинство косами, лопатами, топорами. В это время где-то в центре села ухнуло — потом оказалось, что это был

залп из винтовок. Какой-то парень с перекошенным от страха лицом вскочил в наши сени и, выронив топор, перекрестился:

— Там стреляют, — проронил он, явно пытаясь укрыться в сенях. Но, не слыша больше ничего страшного, скоро убежал.

Стало ясно, что это — крестьянское восстание. Доходили слухи из разных мест о восстаниях, но в газетах о них не писали, и казалось, что всё это где-то далеко и бывает редко.

Мы не знали, что восстанием охвачены Тамбовская и соседняя Воронежская губернии, занятые двумя регулярными армиями атаманов Антонова и Зелёного. У нас толковали, что они зелёные потому, что скрываются в лесах. Не скоро мы узнали это, и что они были разгромлены и рассеяны корпусом Тухачевского — «Красного Наполеона», как его звали за границей, — с отменой продрозвёрстки.

И вот волна этих восстаний нахлынула на наше село.

Откуда они появились, кто их возглавлял, осталось неизвестным. Говорили, что из деревень с северо-восточной стороны накануне вечером присылали гонцов, чтобы примкнули, но наши отказались. Обратило внимание на себя то, что наше село как-то опустело. В частности, не оказалось никого из семейства Галактионова.

Толпа быстро просквозила через наш сад и исчезла. Наступила жуткая тишина. Мы замерли в ожидании сообщений.

Скоро с дворни пришла Матрюща и рассказала: когда толпа достигла волисполкома, дала залп из охотничьих ружей (может быть, и винтовки и обрезы были — кто это проверял?), но все власти успели уехать. Оставили только сторожа — немца, бывшего

садовника из имения Казаково. Узнав, что власти эвакуировались на рассвете по направлению к станции Набережная (видимо, их предупредили), часть толпы с оружием бросилась их догонять, и в деревне Липовчик они догнали Андриюшку Кровельщика, который работал при исполкоме, в партии не состоял и руководящих должностей не занимал. Он залёг и стал отстреливаться. Его убили и привезли в Волово.

Воловские не присоединились к восставшим. Те хотели растерзать подвернувшегося Панова, но возле него оказался первый кулачный боец села, и он троих отбросил, а остальные отстали.

Разъярённая толпа сорвала своё бешенство на совершенно безобидном садовнике. Его зверски избили, выбили глаз и закопали в одной могиле вместе с Андриюшкой. Говорили, что их засыпали, а земля шевелилась.

К вечеру толпа насытилась своей расправой, угомонилась и постепенно рассеялась. Но эта внезапно нахлынувшая лавина произвела страшное впечатление. Никто не знал, что ей нужно, видели только слепую ярость и жестокость.

Через один или два дня тревожного ожидания и пустоты, так как не было ни мятежников, ни законных властей, в Волово со стороны Ливен въехал на грузовике карательный отряд с пулемётом. Начальник отряда Черников собрал сходку перед грузовиком, на котором стоял, грозно глядя на тихую толпу, на пулемёт. Речь Черникова была примерно такая:

— Ну, мужички, разговор наш будет короткий. Видите «максимку»? Смотрите и понимайте. На первый раз вам прощается, а если это повторится, перестреляем всех. Ясно?

Мужички молчаливо слушали, вероятно, радуясь, что всё обошлось так благополучно и никаких репрессий и кар нет.

Восстание пролетело через Волово безследно, как шквал, и от него остались только братская могила да две авторучки несчастного садовника немца, которые Матрюща принесла нам. Как я ни вертел их, так и не смог понять, как с ними обращаться.

Заговорили на ухо о кронштадтском мятеже матросов. По газетам его объясняли происками белогвардейцев и левых эсеров, но возникало много недоумений: откуда в Кронштадт могли проникнуть левые эсеры, о которых уже стали забывать, и как они могли перевернуть настроение матросов легендарного Балтфлота, которые совсем недавно были главным оплотом большевиков при захвате ими власти? Вспоминалась золотая надпись на чёрной ленте безкозырки «Балтийский флот» матроса-подводника Ефрема Сергеевича Бачурина, его резкие восторженные выступления на воловском митинге в 1917 году, страстные споры до полуночи с тётёй Марусей в нашем доме...

Говорили, что матросы получали много писем из их родных деревень, в которых родня жаловалась на продразвёрстку, на разруху, на то, что комбеды отбирают весь хлеб. И это было понятнее. Но на душе оставался какой-то тёмный осадок от того, что наиболее активные творцы революции, оплот Смольного, были жестоко обстреляны. Говорили, что восстание было подавлено по предложению и под руководством Троцкого, который придумал взять неприступную крепость штурмом силами делегатов X-го партсъезда, одетых в белые халаты, чтобы незаметно подкрасться

по льду, а теперь матросов расстреливали, ссылали в концлагеря. Но подробности замалчивались, а горький привкус сомнений, успокаиваемых газетами и отвлекаемых очередными событиями, постепенно прошёл.

В 1921 году, после решения X-го съезда партии, в жизни народа наступил новый перелом.

Как только продрозвёрстку заменили продналогом и разрешили свободную торговлю, сразу всё изменилось. Утихли волнения, люди оживились, стали громче говорить и чаще смеяться. Появилась твердая «золотая» валюта — червонцы вместо «лимонов», все почувствовали почву под ногами. Появились новое слово «нэп» и новые люди — «нэпманы».

К большому удивлению — моему и всех воловских, — первую лавочку в помещении бывшего купца Морозова открыл — кто бы мог подумать! — моряк-подводник Ефрем Сергеевич. Как только это стало известно, я, не в силах сдержать любопытства, пошёл в его «магазин». Но мне пришлось разочароваться. Кроме стёкол для керосиновых ламп, притом самой причудливой формы, какой я никогда не видал даже на картинках, — например, не с расширением там, где огонь, а с перехватом, сужением, — больше у него ничего не было.

Вслед за Бачуриным открылись настоящие лавки с красным товаром, то есть тканями, изделиями из них и галантереей, братьев Невзоровых — потомственных купцов. А за ними, тоже вызвавший некоторое удивление, открыл торговлю учитель Филиппов. Он сбрил бороду и оказался совсем молодым.

У всех нэпманов, наших и приезжавших, как по мановению жезла, появились общие, весьма харак-

терные черты. Буйная жизнерадостность и оптимизм всегда и везде с постоянным неудержимым смехом и подчёркнутая услужливость в магазине, самоуверенная энергия в движениях.

Скоро у большинства из них выработалась и типичная внешность: костюм с обязательным галстуком, короткие узкие брюки с цветными пёстрыми носками. Этот контраст с ещё недавно царившими пуританскими гимнастёрками, кожаными куртками и галифе как бы рекламировал новую эпоху: «Мы всё можем, нам всё доступно». Впрочем, ради точности следует оговориться, что галифе и раньше открывали некоторые скромные возможности к щегольству за счёт ширины, достигавшей иногда невероятных размеров, или — ещё хлеще — за счёт формы углом книзу.

Торговля Невзоровых и Филиппова быстро расширялась и крепла, а Ефрем Сергеевич вскоре закрыл свою лавочку и уехал в Мариуполь работать электриком по своей подводной специальности.

Теперь, когда нэпманов из бывших купцов ругали недобитыми буржуями, они смело огрызались:

— Это вам не восемнадцатый год.

Почему-то мне показалось обидным, когда сказали, что Оля, дочь генерала Павлицева, девушка едва ли 18-ти лет, уехала с купцами в Донбасс.

Страшный голод в стране в 1922 году докатился и до нас. Стояли незасеянными поля у вдов и безлошадных. Не было дождей, хлеба сохли, не дав колоса, сохла трава.

Особенно ужасно было в Поволжье. Ползли слухи, что там люди мрут, как мухи, и мёртвых складывают штабелями. В газетах печатали обращения к населению о помощи голодающим.

Но и у нас становилось всё хуже и хуже. О смертных случаях не было слышно, но народ подмешивал в хлеб картошку и лебеду, от чего он становился чёрным и твёрдым. Исчезло молоко. Мама давала нам на обед пшённую кашу, сваренную на воде и политую постным супом вместо масла.

Народ ходил понурый, люди, вздыхая, часто глядели на небо, но оно ярко сияло без единого облачка. Усиленно молились в церкви, устроили крестный ход на «Ступочку», но дождя не было.

Как-то к папе зашёл Панов. Это был сухощавый мужчина с хриплым голосом. Крестьянином он мне не казался, так как земли не имел, жил в центре села и заведовал пожарной командой, состоявшей из него и насоса. Были тогда такие насосы на двоих. Мы брали этот насос каждую весну откачивать воду в погребе. Панов пожаловался папе, что нечего есть. У него были дочь, лет десяти, Нина, бледная девочка, и маленький сын, а жены не было. У нас мука тоже кончалась, а до новины было недели три. И вдруг папа отдал ему почти всю муку. Мама, узнав, страшно расстроилась, стала упрекать его:

— А что же мы будем есть?

Но папа со свойственным ему спокойствием сказал:

— Ничего, мамочка, Бог даст день — Бог даст и пищу.

Скоро наша мука кончилась, и папа пошёл к соседу Андрею Терентьевичу просить у него займы "полпудика до новины». Он знал, что у того много хлеба, сосед возил его мешками на станцию Кшень и в обмен привозил всякие вещи, вплоть до велосипедов, доставшихся за безценок. Возможно, папа на это и рассчитывал, уверенный, по своей доброте, что у соседа не хватит совести ему отказать.

У Андрея Терентьевича после революции наёмных работников не стало, и дети целые дни от зари до зари работали на мельнице, в поле или во дворе. Они обслуживали многих вдов и бедняков, получивших наделы, но не имевших ни рабочей силы, ни инвентаря, «исполу», то есть земля — их, инвентарь — его, а работа и урожай — пополам. Так при нещадной работе трёх сыновей и двух дочерей он собрал к 1929 году около трёхсот копён ржи — большая величина даже для урожайных мест. Его старший сын Иван служил в Красной армии, вступил в партию и оторвался от своих. Мать же их, Пелагея Фомишнишна, по простому Хаминиха, невысокая полная хитровато-вкрадчивая женщина, страдала запоем. Изредка её находили где-нибудь валявшейся во рву, приводили домой, били вожжами, отливали, но ничто не помогало. Проходит время — и снова шёпот: «Хаминиха опять запила».

Как рассказал безо всякого возмущения папа, Андрей Терентьевич в ответ на его просьбу спросил:

— А жёлтенькие у вас есть?

Папа не понял:

— Какие жёлтенькие?

— Кругленькие, — показал на ладони своим кровавым пальцем Галактионов. — Нету? Ну, тогда и разговора нету.

Так и нам пришлось перебиваться хлебом с лебедой, а я с тех пор окончательно воспылил классовой ненавистью к кулаку Галактионову. Меня только удивляло, почему папа, как мне показалось, даже не обиделся на Андрея Терентьевича, и у нас продолжались, хотя и не очень любезные, но мирные соседские отношения.

В сентябрьский погожий день папа с Димитрием уехали на станцию Долгая — повезли продналог. Перед обедом мама возилась в кухне около печки, я сидел на лавке у окна. Вдруг отворилась дверь, и в кухню вскочил небольшой живой попик с лохматой рыжей бородкой, в которой была лысинка на месте подбородка.

Это был папин товарищ по семинарии отец Николай Иножарский. Он служил священником где-то километров за двадцать пять от Волово, возле села Студёного, и изредка встречался с папой. Папа его любил, как он любил большинство своих товарищей и друзей.

Начались оживлённые расспросы, шутки, смешки. Отец Николай был очень жизнерадостным, с острым чувством юмора. Уже одно ожидание его слов, когда он хотел что-то сказать, настраивало на смех.

После обеда я увидел под сараем с сеном какой-то еле заметный столбик дыма.

— Смотрите, что это такое под сараем!

Отец Николай посмотрел:

— Э, детонька, бегите скорее, что-то нехорошо!

Подбегая к сараю, мы увидели сквозь щели между досками пламя. Тут же огонь пробил крышу, и столб серого дыма взвился к небу.

Вскоре забил набат нашего могучего колокола, а ещё через несколько минут двор уже был переполнен народом. Весь сарай, набитый свежим сухим сеном, был охвачен пламенем. Появились пожарники, и борьбой с огнём начал командовать сам предвик Костя Бахтияров. На душе стало легче от одного его могучего вида. Схватив огромный багор, он зацепил им стену сарая и обрушил железную крышу на горящее сено. Из-под крыши взвились в небо огромные языки пламени.

— Воды, воды на конюшню! — кричал Бахтияров. — Угол занимается!

Пожарники стали поливать угол соседней дубовой конюшни — стационара для больных животных. Баграми растащили головни, сено догорало, и пламя стало затухать. Через каких-нибудь два часа осталась куча горячего красного пепла и зияющая дыра в заборе возле бывшего сарая.

На другой день утром папа, возвращаясь со станции, не сразу понял, куда исчез сарай. Но он не любил охать и жаловаться — «значит, судьба была ему сгореть». Вспоминая вчерашний день, он догадался, что слишком близко от сарая высыпал горячую золу из печки — от неё, очевидно, сарай и загорелся.

Вечером за ужином радость приезда Николая Ивановича и горе пожара обмыли разведённым спиртом, настоящим на лечебном корне «калгане». Весело обсуждали свою жизнь. Отец Николай с удовольствием вспоминал, как они учились в Орловской семинарии — он в одном классе с младшим братом отца, дядей Егором. Потом его попросили спеть. Он не заставил себя долго упрашивать, стал серьёзным, помолчал и запел красивым баритоном, просто и захватывающе задушевно:

*Вот мчится тройка почтовая
По Волге-матушке зимой.
Ямщик, уныло напевая,
Качает буйной головой.*

И уже не было весёлого обаятельного балагура с рыжей бородкой, не было нашей кухни, не было нас — всё унесла песня.

Было безкрайнее снежное поле, метель, смертельная тоска ямщика:

*Под снегом лежала она,
Закрыв свои карие очи.
Налейте, налейте бокалы вина,
Рассказывать нет больше мочи.*

Отец Николай кончил и молчал, и все молчали, думая каждый о своём, а мне виделась вся эта картина.

Я любил все ямщицкие песни, вероятно, самые замечательные из всех русских песен, рождённые безкрайними просторами России, бесконечными дорогами, и особенно близкие нам, жившим на большаке.

С тех пор об Иножарском было известно только, что в эпоху коллективизации его выселили. И через много лет, уже после Отечественной войны, я снова услышал о нём от своего двоюродного брата Павла после его восьмилетней ссылки в Воркуту, как бывшего члена Орловского обкома. Он рассказывал, что в 1933 году, при пересылке по этапу на пересмотр дела по заявлениям, сделанным на имя Сталина и Калинина мною и родным братом Павла Сергеем, в одной из этапных тюрем он встретился в камере с отцом Николаем. Раньше они не были знакомы и по теории были непримиримыми классовыми врагами, но, видимо, из разговора узнали, что они земляки и о близости к нашей семье.

Павел рассказывал, что, несмотря на общую участь, и после ареста, в тюрьмах и ссылках ортодоксальные большевики оставались верны своим антагонистически-классовым принципам. Сохранились классовая обособленность и партийные груп-

пировки. Коммунисты-ортодоксы держались в стороне от «буржуазных элементов», «кулаков». «Кулаки» злорадствовали: «Ага, и ваша очередь настала». Даже с оппозиционерами, троцкистами эти большевики не примирились. Но отец Николай пользовался в камере общим уважением, особенно после одного эпизода.

С воли каким-то чудом в камеру попал кусок газеты. Это было редкое и радостное событие. Тюремная стража строго следила, чтобы даже газеты не попадали в руки арестантов. Арестанты устроили чтение газеты, а отец Николай стоял перед глазком камеры с парашей в руках, как будто переносит её, и закрывал собой глазок на случай, если охранник глянет в него.

Отца Николая гнали в Казахстан, в ссылку, где он скоро и умер. А Павла вернули обратно в лагерь Воркуты, откуда он не вернулся. Он был посмертно реабилитирован в 1957 году, а в 1989-м восстановлен в партии.



1931 год

Книжный шкаф

В нашем доме перед кухней был чулан. По двум его стенам шли полки, а в третьей, выходящей в палисадник, было маленькое квадратное окошко, как в тюрьме, только без решётки. В чулане хранились разные продукты, пока они ещё были, пахло салом, мышами и ещё чем-то уютным.

Однажды мои шалости превзошли предел родительского терпения, и меня подвергли высшей мере наказания — заперли в чулан. Щёлкнула задвижка, затихли шаги, и я остался один. Постепенно обида прошла, слёзы высохли, душа умиротворилась, и снова появилась жажда деятельности.

Первым делом я полез на полку глянуть в окно. Но оно было высоко, из него видны были только погреб и палисадник, где никто не проходил.

Осмотревшись, я обнаружил высоко, у самого потолка, полку со старыми книгами. Добравшись до неё и скрючившись на другой, продуктовой полке, я стал исследовать открытие.

Там были комплекты «Ветеринарного вестника», в котором иногда печатали папины статьи, комплекты толстого журнала «Русское богатство» — органа народников, возглавлявшегося властителем

дум того времени Николаем Константиновичем Михайловским, и оказавшееся самым интересным для меня тогда: маленькие неразрезанные книжечки на плохой бумаге. Эти книжечки носили странные названия: «Дело 20-ти», «Дело 193-х»... В них описывались подвиги народовольцев, о которых до этого я ничего не слышал. Эти книжечки открыли мне совершенно новый, сказочный мир героев — народовольцев. Я впервые узнал имена Степняка-Кравчинского, поразившего кинжалом в грудь белым днём на людной площади Петербурга шефа жандармов, Веры Засулич, стрелявшей в упор в генерал-губернатора Трепова и оправданной по делу 193-х, Фроленко, организовавшего массовый побег из тюрьмы, и других героев — борцов за правду и справедливость.

Эти скромные брошюрки пробудили во мне огромный интерес к революционерам, восхищение и преклонение перед ними и всей многострадальной русской интеллигенцией от Радищева до Сахарова.

До 1918 года мне выписывали журнал «Задушевное слово». В нём много писали о бойскаутах. Это такая организация мальчиков, вроде теперешних пионеров. На картинках в журнале был даже портрет их организатора — английского генерала Баден-Пауэлла. Он стоял во весь рост в коротких, как мои, штанишках и широкополой шляпе. В таких же штанишках и шляпах защитного цвета, в рубашках с галстуками ходили и сами бойскауты. У них были круглые эмблемы, по ободку которых был написан девиз бойскаутов: «Вера в Бога, верность Царю, помощь ближним. Будь готов». Они собирались в отряды с руководителями, зажигали костры, но главная обязанность

была — помощь ближним. Каждый из них должен был ежедневно сделать хоть одно доброе дело: перевести старушку через улицу, наколоть дров старичку и тому подобное.

Потом вместо бойскаутов появились красные скауты, а вместо красных скаутов — обыкновенные пионеры, у которых остался только девиз «Будь готов».

Когда «Задушевное слово» издавать перестали, читать стало совсем нечего. Мама дала мне басни Крылова, и некоторые из них заставляла учить наизусть. Было очень интересно читать про разных зверей и учиться у них уму-разуму.

Став взрослым, я вспоминал многие из них, например:

«Таланты истинны за критику не злятся: их повредить она не может красоты; одни поддельные цветы дождя боятся»;

«Кто про доброту лишь в уши всем жужжит, тот часто только добр на счёт другого, затем что в этом нет убытка никакого».

Потом мне подарили чудесную хрестоматию «Родное слово». Этой хрестоматией мама открыла мне волшебный мир стихов. Таинственной силой завораживала музыка строк, даже когда не вникал в смысл их слов.

Первым любимым был Лермонтов. Ко дню рождения мне подарили красивую книжечку с кораблём под белыми парусами на синем море на обложке, с золотым обрезом:

*По синим волнам океана,
Лишь звёзды блеснут в небесах,
Корабль одинокий несётся,
Несётся на всех парусах.*

Мама очень любила стихи и часто читала наизусть Некрасова и наших земляков Никитина и Кольцова. Очень любила С. Я. Надсона:

*Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат,
Кто б ты ни был, не падай душой.
Пусть неправда и зло полновластно царят
Над омытой слезами землёй,
Пусть разбит и поруган святой идеал
И струится невинная кровь, —
Верь: настанет пора — и погибнет Ваал,
И вернётся на землю любовь!*

*...В мир придёт она в силе и славе своей,
С ярким светочем счастья в руках,
И не будет на свете ни слёз, ни вражды,
Ни безкrestных могил, ни рабов,
Ни нужды, безпросветной, мертвящей нужды,
Ни меча, ни позорных столбов!*

*О, мой друг! Не мечта — этот светлый приход,
Не пустая надежда одна:
Оглянись, — зло вокруг чересчур уж гнетёт,
Ночь вокруг чересчур уж темна!
Мир устанет от мук, захлебнётся в крови,
Утомится безумной борьбой —
И поднимет к любви, к беззаветной любви,
Очи, полные скорбной мольбой!..*

С возрастом я всё более ощущал голод на книги. Книг в разруху почти совсем не издавали. Оставалось только два источника литературы: наш книжный шкаф и книги знакомых.

Шкаф из простых крашеных досок стоял в коридоре во всю его высоту. Большую часть нашей библио-

теки составляли приложения к очень популярному журналу «Нива» издательства Маркс. За восемь рублей в год мы получали пятьдесят два номера тонкого художественного журнала «Нива», двенадцать номеров толстого литературного приложения и двенадцать томов собраний сочинений какого-либо писателя. Кроме «Нивы», выписывали толстый журнал «Русское богатство», издававшийся Н. К. Михайловским и В. Г. Короленко, и тонкий эстетический журнал «Пробуждение».

Из журнала «Пробуждение» мне врезалось в память:

«В это утро горы молились так: „Тебе, Додневный, Который творил нас, ликуя...“»

В книжном шкафу накопились собрания сочинений почти всех русских классиков, и я читал их, начиная с детских, а потом небольших «взрослых» рассказов.

От Гоголя возникало чарующее впечатление сказочно красивой природы и жизни хлопцев и панночек, столь не похожей на нашу воловскую и такой поэтической: «Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои...»

Это восхищение Малороссией, как тогда называли родину Гоголя, усиливалось ещё тем, что Волово находилось на границе с Украиной, а наши крестьяне завидовали, как хорошо у хохлов: «И хаты у них белые, и вишни растут, и питаются они арбузами с салом», — как у А. К. Толстого:

*Ты знаешь край, где всё обильем дышит,
Где реки льются чище серебра,
Где ветерок ковыль степной колышет,
В вишнёвых рощах тонут хутора.*

К тому же Украину любил папа. Он учился в Харькове, в Черниговской губернии проходил практику, и в его речи часто проскальзывали украинские слова.

Из книг, которые дали почитать знакомые, особенно понравились «Маленькие дикари» Эрнеста Сетона-Томпсона. Они заразили нас игрой в индейцев. Но наши обычные мальчишеские увлечения оружием, играми в войну, в том числе в индейцев, папа не одобрил. Недовольно он говорил:

— Ну, зачем это? Оружие для того, чтобы убивать. Почему нельзя играть в мирные игры? Вот я в детстве собирал сено, возил его на тележке, а в ружья не играл.

Папа настоял на том, чтобы я читал Толстого «Бог правду видит, да не скоро скажет», «Много ли человеку земли нужно», «Где любовь, там и Бог», «Кавказский пленник» и другие небольшие рассказы. Сначала они мне казались скучными, но постепенно втянули меня и заронили в мою душу чувство высшей правды, справедливости всегда и во всём, даже в ущерб себе.

От Ивана Николаевича Ярошевского мама принесла целый мешок с книгами. Это было полное собрание сочинений Жюль Верна. Я сразу принялся за «80 тысяч вёрст под водой». Эта книга захватила меня всем: и чудесной техникой «мобиле ин мобиле» (движение в движении), и, не меньше, — образом безстрашного, загадочного и благородного капитана Немо. И я немедленно, безо всяких разговоров, решил строить подводную лодку. В тетрадке начертил её проект. Винт у меня крутил водяное колесо, вода подавалась из бака и накачивалась после колеса обратно насосом. Всё было продума-

но. Я ведь не знал, что у меня получился вечный двигатель.

Когда мама взяла меня с собой в церковь к обедне, я, воодушевлённый своей идеей, стоя на коленях и делая поклоны до пола, молил Бога помочь мне построить подводную лодку, а за это обещал сделать в ней маленькую церковь с алтарём. Но Бог мне не помог.

Это было моё последнее посещение нашей церкви. Вскоре мне попала в руки тоненькая брошюра Горева «Материализм — философия пролетариата» и очень понравилась. С тех пор и на всю жизнь я стал считать себя материалистом и заявил маме, что больше в церковь ходить не буду. Мама была очень огорчена, но папа поддержал меня.

Затем мне достали истрёпанную книжку «Азбука коммунизма» Бухарина и Преображенского, не очень интересную.

Начитавшись этих книг и газет, я начал ощущать свою неполноценность и чувствовать ущербность в своём социальном положении. Героями дня были пролетарии. Была диктатура пролетариата. Пролетариат — это такая чистокровная, чистопородная, идеальная часть людей, которая освободит угнетённых и построит для всех светлое будущее. Только настоящие пролетарии имеют правильное мышление, правильное представление обо всём. Только они знают, что делать, куда идти правильно. Все остальные, и даже не вполне чистокровные пролетарии, могут ошибаться, у них есть зараза, если не буржуазная, то мелкобуржуазная.

Мой отец не был пролетарием, не был крестьянином и купцом. Он зарабатывал хлеб довольно тяжёлым трудом участкового ветеринара. Но он

имел высшее образование и был интеллигентом, а интеллигенцию в то жестокое время диктатуры пролетариата назойливо третировали за безхребетность, называли гнилой, считали мелкобуржуазной прослойкой, не имеющей самостоятельного значения.

Не чище ли стоять за токарным станком и слыть чистокровным, непорочным пролетарием?

Я, конечно, свято верил в достоинства пролетариата и уважал его. У нас, правда, не было пролетариев, откуда они в деревне? Андрюшка кровельщик был, по сути дела, кустарём-единоличником, кузнецы — тоже частники (сперва этого слова ещё не было). Поэтому для нас настоящий пролетарий был так же чист и непорочен, как ангел небесный. Тем острее мы сознавали свою мелкобуржуазную недостаточность, и я рано начал понимать все «пороки» интеллигентов, из которых самым тяжким считалась «мягкотелость», то есть доброта.

Едва ли не самыми крайними выразителями пролетарской идеологии были пролеткультовцы. Они внушали, что этой идеологии чужды даже народные танцы, что недопустимо красиво одеваться («мещанство»), иметь домашний уют («обрастание») и тому подобное.

Некоторое сомнение вызывали только вожди пролетариата. Откуда у них чистая пролетарская идеология? Правда, непролетарское происхождение вождей искупалось, маскировалось их подпольным стажем, тюрьмами и ссылками и замалчивалось. Вожди революции имели пролетарский облик, ходили в кожаных куртках. Но всё же было приятно с облегчением угадывать интеллигентов в популярных народных комиссарах: Ленин — юрист; Троцкий, Бухарин, Зи-

новьев, Каменев — журналисты; Кржижановский, Красин — инженеры, почти аристократы; Луначарский — философ-эстет; Чичерин — дворянин, дипломат, знавший четырнадцать языков, поклонник Моцарта; Семашко — врач... И это рождало робкую надежду на смягчение казавшегося жестоким облика диктатуры.

Не менее, чем буржуазная, в то время порицалась и мелкобуржуазная идеология мещанства, особенно крестьянства.

Собственнические черты идеологии тогдашнего крестьянина я увидел рано, отчасти под влиянием некоторых немногословных реплик отца, из рассказов Бунина и Чехова, но больше — из собственных наблюдений. Например, в голодном 1922 году жену учителя поймали на чужом огороде, где она пыталась накопать картофеля. Собралась толпа и устроила самосуд, не такой уж, правда, жестокий, но крайне унижительный. Её запрягли в соху, обвешали картофельной ботвой и заставили протащить соху по всему селу, чтобы другим неповадно было. Сам я этого не видел, но мне ясно представился ужас несчастной женщины в паутине ботвы, гонимой улюлюкающей толпой. Скоро она умерла, оставив пятерых сирот.

Во всех столь частых анкетах того времени нужно было указывать не только социальное положение, но и социальное происхождение, сословие. Папа сначала писал «духовное», потом пришлось писать «сын служащего». Мама острила:

— Ведь и правда дедушка служил, в церкви.

Так безликое слово «совслужащий» поглотило золотой фонд народа — многострадальную русскую интеллигенцию.

Но никто из «чеховской» интеллигенции не покинул народ, никто не отвернулся от крови репрессий и грязи разрухи, нужды. Все оставались на своих постах, без жалоб и роптаний работали, не жалея сил, не за награды — они фактически не получали даже зарплаты, — а за своё выстраданное столетием право свободного труда для освобождённого народа.

К трудовой интеллигенции примкнула значительная часть привилегированной интеллигенции, в том числе из дворян.

Многие «бывшие», вроде моей крёстной матери Елизаветы Николаевны, работали «шкрабами по ликбезу», что означало: «школьный работник по ликвидации безграмотности взрослых».

Я видел букварь для взрослых, в котором были слова:

*Быт глуп, быт спит,
Рабклуб, бей быт,
Рабы — не мы,
Мы — не рабы.*

Из наших воловских дворян Истомин, Ветчинин, генерал Павлицев служили в Красной армии. Мне это казалось понятным, ведь обедневших дворян разорила не советская власть, а «чумазый» — нарождающаяся буржуазия царского времени. Много бывших дворян было и в советских верхах. Достаточно напомнить о наиболее известных генералах: А. А. Брусилове, С. С. Каменеве, графе А. А. Игнатьеве, которыми руководили национальное чувство Родины и дворянская честь.

Я любил нашу воловскую интеллигенцию, особенно врачей: Лидию Михайловну и Юрия Анатольеви-

ча, — а также агрономов и других друзей нашей семьи. Вне этой атмосферы, так тесно связанной с родителями, я чувствовал себя как на чужбине, а с ними чувствовал себя как среди своих родных. Они мне казались героями.

В годы разрухи Лидия Михайловна, боровшаяся с эпидемией сыпного тифа, не жалея себя, заразилась и умерла, оставив трёх маленьких детей. Всю тяжесть их воспитания взяла на себя её сестра, милая и короткая девушка Мария Михайловна, отказавшись от личной жизни.

Вскоре так же заразился сыпным тифом и умер наш воловский врач Юрий Анатольевич Марков. Невысокого роста, с худым лицом с усиками, скромный по-чеховски, он ходил в кожаной тужурке, прихрамывая: одна нога у него была оперирована. Мы часто встречались. Он хорошо играл на скрипке. Родом он был из давно разорившихся помещиков. Небольшое имение его предков было недалеко от нас, на высоком берегу Кшени.

Под интеллигентами я и тогда, и ещё яснее теперь, понимал и понимаю не всех образованных и внешне воспитанных людей, а только тех, для которых нравственные принципы, интересы общества стоят выше личных интересов, в противоположность образованному мещанству всех уровней.

С детства я чувствовал преклонение перед светлыми именами страдальцев и мучеников русской интеллигенции и понимал, что её нельзя истребить, потому что это цветы на почве своего народа.

Зимой 1922 года мама однажды подняла край Володиной рубашки и воскликнула, побледнев:

— Сыпь. Скарлатина.

Врачи подтвердили её диагноз.

Меня перевели спать из спальни в кабинет, но через день слёг и я, хотя сыпи не было, поэтому подумали, что это просто простуда, и оставили в изоляции от Володи. Моя болезнь была менее тяжела, чем у брата, но затянулась, и мы встали лишь в апреле.

Ярко светило солнце. Сугробы почернели и с каждым днём становились всё меньше, из-под них журчали ручьи. Нас ещё не выпускали из дома, было скучно, хотелось на двор, в сад, но мы были ещё слабы и отводили душу чтением лёжа.

Читать было нечего, свои книги надоели, и тут папа меня обрадовал. Где-то он достал новую книгу, два толстых тома: Николай Морозов, «Повести моей жизни».

Из предисловия я узнал, что автор книги — знаменитый народоволец и террорист, учёный, просидевший в одиночном заключении в крепости Шлиссельбурга двадцать пять лет, приговорённый к пожизненному заключению, но освобождённый революцией 1905 года.

Начав читать, я уже не мог оторваться и нехотя расставался с книгой на ночь. Я стал жить в другом, новом, удивительном, прекрасном мире народовольцев, о которых уже читал раньше.

Сначала вместе с Колей Морозовым, сыном помещика и крестьянки, учился в реальном училище, вместе с ним собирал по оврагам окаменелости, участвовал в конспиративных собраниях, слушал вместе с ними, как красавица народоволка Алексеева пела под рояль на суровый мотив Шуберта звучавшее, как гимн:

*Бурный поток, чаща лесов,
Голые скалы — мой приют.*

Кончил читать эту захватывающую книгу, но она продолжала жить во мне сказочной романтикой русского революционного движения, героизма народовольцев.

В душе расцветали образы этих простых и необыкновенных людей, которые во имя правды, веры в свободу и счастье народа бросали свою сложившуюся жизнь, комфорт, науку; благородные девушки надевали простые ситцевые платья, повязывались платочками, тысячами шли «в народ» по деревням, подвергались арестам, ссылкам в Сибирь, на каторгу, заключению в Петропавловскую крепость. Горсточка юношей объявила беспощадную войну за свободу, за освобождение крестьян. Выносили смертные приговоры самому императору и его подручным, навели страх на правительство, а была их всего лишь маленькая группка.

Перед моими глазами, как живые, стояли Степняк-Кравчинский, парень с копной чёрных волос, смелым взглядом и упрямым лбом, красивая девушка Вера Засулич. К ним принадлежали Вера Фигнер, Герман Лопатин, которого знал и уважал Карл Маркс, и, наконец, самый знатный, князь Пётр Алексеевич Кропоткин. Первый паж Александра II, которого ждала блестящая придворная карьера, — а он уехал простым офицером в Сибирь, стал знаменитым учёным и революционером, потом бежал из Петропавловской крепости.

Я старался понять силу, которая заставляла этих прекрасных юношей и девушек идти на смерть. Мне тогда не приходило в голову: как такие хорошие, интеллигентные, добрые люди могли убивать? Факт убийства человека не достигал моего детского сознания (и, видимо, части террористов,

вроде Морозова) — как это бывает в излюбленной всеми мальчиками мира игре в войну. До меня не доходили полные укора слова отца, расстроенного нашим увлечением оружием.

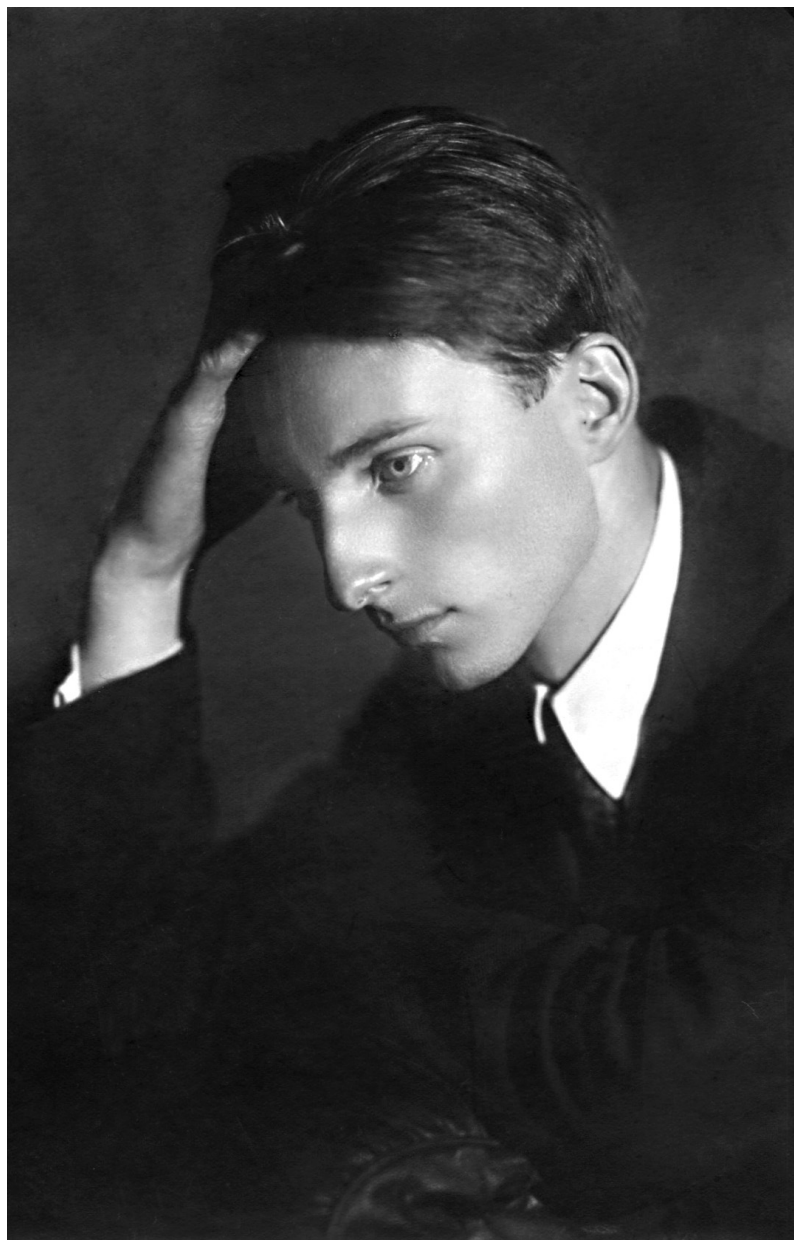
Ещё более глубокое впечатление произвели стихи любимого мамой Некрасова о декабристах и особенно об их жёнах, добровольно сменивших роскошную придворную жизнь на рудники далёкой, глухой и морозной Сибири. Невозможно забыть поступок и признание княгини Волконской:

*Последнюю, лучшую сердца любовь
В тюрьме я ему подарила!
Напрасно чернила его клевета,
Он был безупречней, чем прежде,
И я полюбила его, как Христа...*

Поражали беззаветная преданность идее, до последнего вздоха, до последней капли крови, абсолютная честность, самопожертвование во имя ближнего, полная вера, что счастье будет достигнуто их борьбой, неистощимая потребность в свободе, стремление к социальной справедливости. И мою душу навсегда покорили идеалы правды и справедливости под опекой совести.

Обаяние этого света на фоне выздоровления, весны и окрыляющего чувства наступающей юности переполнили душу неповторимым ощущением счастья.

Это была весна моей жизни.



Гимназия на дому

Володя был на три года младше меня, но он был живым, подвижным и более общительным.

Я не водил компании с деревенскими ребятами, потому что мы жили довольно далеко от села, да и мама боялась дурного влияния, а Володя прорвался в деревню и, к маминому ужасу, один раз даже подрался с мальчишками, что для меня было совершенно невозможно.

Как-то, весной 1921 года, он с утра исчез и явился перед самым обедом с торжествующим видом.

— Где ты пропадал целый день? — строго спросила мама.

— В школе, — гордо ответил он.

— В какой школе? Что ты там делал?

— У Антонины Ивановны, учился.

Выяснилось, что он почему-то оказался возле школы, Антонина Ивановна его увидела и шутя пригласила в школу учиться. Он сел за парту и просидел все уроки. Ему очень понравилось, и с этого дня он стал ходить в школу ежедневно, а с осени по его примеру поступил и я — в пятый класс.

Возникло затруднение с обувью: в чём ходить в школу? Мама с Матрьюшей решили обуть меня в верёвочные лапти — чуни.

Матрюща сплела аккуратные маленькие чуни, мама сделала онучи — портянки из домотканого льняного холста. И, наконец, меня обули. Как полагається, в чуни подостлали соломки, научили меня обёртывать ноги до колена онучами и обвивать их крест-накрест верёвочками, привязанными к чуням. Получилось красиво, и мама с Матрüşей любовались новенькой обувкой. Я стал похож, по словам мамы, на её любимого ученика Ефрема Бачурина, когда тот явился на выпускной экзамен в новеньких чунях.

Осень я проходил благополучно, не без гордости за свой крестьянский вид. Зимой ходил в валенках, которые делали тоже наши воловские мастера, конечно, тайком, предлагая из-под полы, ведь частное производство строго преследовалось. Но весной с обувкой стало хуже.

Однажды после сильной оттепели на полпути к школе, в низине, где вода замёрзла, я осторожно пошёл по стеклу льда, но он треснул, и я попал в воду. В передней школы жарко топилась печь, возле которой сушились вороха чуней и портянок, к которым присоединились и мои.

Школа была большая, добротная, как всё земское: два больших зала, соединённых аркой с занавесями. В одном зале преподавала Антонина Ивановна, в другом — мамина подруга, дочь священника Мария Леонидовна. Они как-то ухитрились вести занятия, мало мешая друг другу.

В школе я впервые попал в общество детей. Все они были хорошие ребята, и я удивлялся, почему мама так боялась нашей дружбы с ними.

В одной половине зала сидели мальчики, в другой — девочки. Впереди меня сидел Гриша

Шумский — добродушный мальчик, будущий московский профессор математики.

Учебный год прошёл легко, и незаметно наступил выпуск.

Окончание пятиклассной школы ребята отмечали вечером на поляне возле школы. Было весело, играли в горелки. Я был горд тем, что двенадцать раз подряд поймал весёлую черноглазую Варю Степанову, не без её содействия.

С тех пор я ни с кем из ребят не встретился. Только один раз навестил Гришу. Он таинственно повёл меня на зады. За садом стоял шалаш, крытый соломой, внутри застланный сеном. В нём стоял густой аромат свежей соломы, сена, полыни и чобора, и был располагающий уют, какой бывает только в шалашах, в садах и на огородах в наших местах. В шалаше Гриша с сияющими глазами торжественно показал мне портрет Есенина. Есенин улыбался нам той своей лучезарной улыбкой, которая была только у него, которая особенно хороша была на том редком портрете. Это была обложка журнала.

Я впервые видел портрет Есенина. Он был ещё живой, молодой, но уже легендарный поэт. Я был очарован его обликом — так же, как раньше его стихами. И так неожиданно, так удивительно было это видение. Есенин улыбающийся, довольный тем, что он, как у себя дома, в любимой деревне, в шалаше у огорода, в добрых понимающих родных руках, которые были в каждой деревне необъятной России.

Много позже, зимой 1956 года, в Москве я был свидетелем другой встречи с Есениным.

Между вокзалами Ленинградским и Ярославским, сзади вестибюля метро — книжный киоск, столы

с книгами и календари на витрине. У столов толпятся женщины, простые, деревенские — видно, проезжающие пассажирки. И вот слышу возглас:

— Ах, Серёженька! Вот не ждала!

Нараспев, с душой и радостью, как неожиданно встречают давно не виданного родного.

— Кто? Где? — спрашивает другая.

Я смотрю: молодая крестьянка. Слежу за её взглядом — кому она так обрадовалась? И вижу, что она смотрит на портрет Есенина на дешёвой картонке отрывного календаря. И отвечает:

— Есенин.

И так проникновенно, трогательно, из глубины сердца было сказано это «вот не ждала», как будто Сергей был её утерянным возлюбленным, которого она уже не ждала, что у меня навернулись слёзы.

Пятиклассную школу я кончил, и встал вопрос, что делать дальше. Нужно было поступать в шестой класс, то есть ехать в Ливны. Мысль о разлуке была для страстно любившей нас мамы непереносима. Переезжать из-за нас всем в Ливны маме, родившейся в Волово и создавшей своими руками в нашем доме, в нашей усадьбе такое богатое, красивое и уютное гнездо, бросить всё это навсегда — об этом тогда даже думать было невозможно.

Мне тоже не хотелось покидать родину, и ехать на чужбину казалось горем.

Помню, один раз наш фельдшер Тихон Константинович, когда я нечаянно хлопнул об пол скамейкой, с обычной своей усмешкой сказал:

— Грмишь! Вот в Ливны уедешь — там у чужих людей не постучишь!

И не знаю, у кого родилась мысль: продолжать моё учение дома при помощи папы.

Мама принесла от своей подруги Марии Степановны в мешке двенадцать томов — курс «Гимназия на дому». Мария Степановна, дочь крестьянина Бачурина по прозвищу Склизский, выписывала эти книги перед революцией. И я начал проходить шестой класс, придерживаясь программ уроков «Гимназии на дому» и учебников — знаменитой алгебры Киселёва, геометрии Давыдова и других.

В долгие зимние вечера наша семья собирается за обеденным столом. На столе стоит небольшая керосиновая лампа. Мама что-нибудь шьёт. Володя полулежит на столе, протянувшись к свету лампы, с очередной книгой. Он уже начал читать романы. Рядом с папой сижу я, и мы занимаемся математикой и физикой. Папа помогает мне разобраться с тем, чего я не понял днём, или вместе мы разбираем новый трудный материал.

Особенно трудным казалось разложение на множители. Я так напрягался, что однажды ночью, проснувшись, сразу нашёл разложение одной не дававшейся мне задачи. С этой поры я стал на ночь класть на стул возле кровати бумагу и карандаш.

При этом неизбежно я учил больше, чем нужно. Ведь я не знал, о чём меня спросят в Ливнах, и учил с запасом. Программ из Ливенских школ попросить не догадались, а в «Гимназии на дому» было много устаревшего. Особенно трудной и скучной казалась мне история допушкинской литературы: Кантемир, Тредиаковский, Сумароков...

Ещё мы выписали «Коммунистический университет на дому». В нём впервые начали печатать лекции



1938 год

новой науки «Основы ленинизма» Г. Зиновьева — члена Политбюро и председателя Коминтерна.

Пришла Матрюща и рассказала, что к её соседке приехал из Москвы гость Афанасий Матвеевич Селищев. Соседка была очень бедная и жила в маленьком кирпичном домике на Дворне, который сохранился до сих пор, только после войны его побелили.

Мама рассказала, что Афанасий Матвеевич происходит из очень бедной крестьянской семьи, что он учился с ней в воловской школе в одном классе, а потом уехал учиться в Ливны и стал учёным.

Через день он пришёл к нам. Это был плотный, с круглым бритым лицом, очень вежливый человек. Они с мамой радостно встретились, вспоминали детство, гуляли в саду. Афанасий Матвеевич на прощание подарил тоненькую книжечку, которую написал, она называлась «Забайкальские старообрядцы. Семейские».

Скоро Афанасий Матвеевич уехал и взял с собой племянника Горку, которому деревенские ребята очень завидовали.

Афанасий Матвеевич стал одним из крупнейших учёных-славистов, работы которого широко известны в СССР и за рубежом. В 1924 году был избран членом-корреспондентом Академии Наук СССР, в 1980-м — членом Болгарской Академии наук.

Уже около двух лет шептались о том, что Ленин болен, парализован и не принимает участия в управлении государством. И вот пришла телеграмма, что Ленин умер. В день похорон был мороз и сильная метель, не видно на десять шагов. Папа ушёл на Дворню. Пришёл, рассказал, что был на траурном

собрании, а мы в тринадцать часов слышали залп из винтовок. По всей стране в это время отдавали салют, гудели паровозы, выли фабричные сирены, раздавались орудийные залпы. Страна хоронила человека, которого не все любили, но все, даже враги, уважали.

Пришёл Серёжка Руденский. С таинственным видом, взяв клятву молчания, он открыл мне строгий секрет. Его старший брат Павел, который в это время был уже членом Воловского волкома РКП(б), завагитпропом, принёс какие-то бумаги и спрятал их под замок в ящик письменного стола. Серёжка хвалился:

— Я подсмотрел, куда он прячет ключ, и, когда он ушёл, открыл ящик и увидел, что он принёс. На папиросной бумаге напечатано сверху: «только для членов партии». Это — завещание Ленина, — торопливо, вполголоса и важно рассказывал Серёжка. — Там написано, что надо Сталина заменить за грубость, но некем, потому что, — добавил он, сделав страшные глаза и понизив голос, — у Сталина железная сила воли.

Моему воображению представилась суровая фигура в солдатской гимнастёрке и сапогах. Это мрачное впечатление резко контрастировало с популярными образами других вождей того времени и осталось на всю жизнь.

Быстро и незаметно прошли два года моей «гимназии на дому», два, может быть, самых полнокровных, самых счастливых в моей жизни.

Я проработал программу шестого и седьмого классов девятилетней школы того времени, и осенью 1924 года моя жизнь должна была переломиться:

я должен был поступить в ливенскую школу, оторваться от своего горячо любимого уютного гнезда. Конечно, я с мальчишеским гонором мужественно храбрился перед мамой и стремился вперёд, к новой жизни, а у самого в душе щемило. Но другого выхода не было. И я грустно обходил нашу усадьбу, сад, поле, прощаясь с ними... Всё это так глубоко, искренне и точно описано гением Есенина, что лучше поставить точку.



*А. А. Булгаков с родителями и племянником.
1938 год*



*А. А. Булгаков и Г. Н. Алябьева.
18 августа 1941 года*

«Ох, эта война...»

Рассказ, записанный
в Доме творчества писателей

Завхватив черновики сочинения по Шолохову (скоро экзамен за десятый класс), я поехал в воскресенье к отцу, он отдыхает под Рузой, в Малеевке, в Доме творчества писателей. Время сейчас между зимой и летом, не дефицитное, и путевку продали ему, не писателю. Он и поехал с удовольствием в это прекрасное место, где стоит среди деревьев большой дом с колоннами и вообще всё построено в стиле прошлого века, напоминает помещичью усадьбу. А приехав, сразу стал звонить мне, звать сюда, я плюнул и поехал.

Пообедав, мы спросили в коридоре у женщины в белом халате, которая тут убирается: давно ли здесь всё построено? Она живо отнеслась к нашему интересу и стала рассказывать.

Оказалось, что нет, построено всего лишь после войны. До войны писатель Иван Рахилло проходил тут на лыжах, и это место ему понравилось. А вскоре началась война...

И тут эта женщина, имени которой я не знал и не узнал, стала рассказывать, что было потом. И мы уже не шли с ней по ковровой дорожке, а стояли и слушали.

— Столько наших здесь поубивало... много... очень даже... очень даже... Немцы наступают — сначала самолёты бомбят, потом танки идут — стреляют по всем сторонам, потом мотоциклы и лисапеты, а потом уже пехота. А их было

много, очень много их было... Придут, оставят несколько человек, а сами отступают — все не отступали. А те несколько человек в Глухове, в доме на горе вырыли блиндаж и поставили пушки. Наши видят: там, вроде, пусто — они приказ отдали наступать. А немцы весь народ тогда собрали в одном сарае, а когда увидели, что наши идут, они народ и выпустили. А мирное жительство увидело, что наши идут, к ним навстречу и побежало, а немцы и стали стрелять из пушек по ним. Сколько их поубивало — и солдат, и мирного жителя!..

Там у молодой матери был ребенок маленький на руках, её убило пулей, она в сугроб повалилась, а ребёнок упал, его наш солдат подобрал — и к нам...

Сколько наших поубивало... много... очень даже... очень даже... Сапёров всех поубивало начисто, в канаве у шоссе они так все и полегли, как шли — мы потом смотрели... Только два офицера осталось у плетня. Мы их к себе привели, они не были наголо стриженные, мы им дали мужскую русскую одежду, они у нас и остались.

Потом первая партия немцев пришла. Первым делом пришла кухня.

— Матка, доставай тарелку, — немец показывает.

Мы говорим:

— Нет, — качаем головой. — Вы, — говорим, — нас отравите, не надо нам.

А немец говорит (он по-русски мог):

— Нет, война — нехорошо. Нас заставляют воевать. Если не пойдёшь, то тебя — пум. — Дескать, убьют. И ест сам из тарелки: мол, не отравлена.

А мама моя за три дома жила, приходят к ней:

— Где партизаны?

— Какие партизаны? Вот, посмотрите, нет никаких партизанов.

Они смотрят — валенки (а это девчонки лежали), они с наганом к ним...

Приходят ко мне, а у меня тоже дети были, они шумят, немцы думали — партизаны. Входят — а у меня-то ведь наши, которые остались, сапёры (они были в мужской одежде, что мы им нашли, а та, военная, и автоматы под крыльцом были спрятаны). Ну, «День добрый» — «День добрый». — «А почему не на войне?» — «Война — это нехорошо». Ну, так, вроде, ничего. А потом поехал немецкий офицер и на mine подорвался. Они тогда у нас собрали всех, стариков и подростков погнали в лес — нет ли мин. А шофёр, который немецкого офицера вёз, их предупредил:

— Я его зарежу, а вы бегите в лес, вас расстреливать ведут.

Так он и сделал: офицера в машине удушил, а все разбежались в лес, кто куда. И потом все целы и невредимы в деревню вернулись.

А в деревне их, немцев, — туча, прямо туча... Два месяца они у нас были. Наши на них смотрели — зубами скрипели, а что сделаешь. Ходят, со дворов скот уводят, всё тащут: крупу, одежду...

А потом пришла вторая партия, первая ушла. Ну, тут уже было много и поляков, и других... Они уже отбирали то, что те не успели.

А один раз сидел немец у нашего дома, ногой качал, дул в гармошку. Тут сзади подкрался наш, ему удобно было: там росло четыре больших липы, а между ними — кустарник частый, он сам был весь до валенок в белом, сзади схватил немца ладонью за лицо и потащил.

Тогда они согнали весь народ до единого, и старого и малого, поставили и говорят: выходить на улицу можно только от восьми утра и до восьми, а в другое время — нет, если кто появится, стрелять будут.

Наши офицеры уходили — адреса свои оставляли, я записала, да потом дом сгорел, всё пропало. Говорили: «Обратно будем идти — зайдём чай попить». Да так их и не было...

А как немцев от Москвы погнали, так они пошли все замотанные, кто во что, в дом заходили — валенки прямо с ног стаскивали, а не отдашь — так убьют и с мёртвого стащут. Всякую одежду брали, женскую юбку вокруг головы обматывают... Курей всех поубивали. Курицу поймают, на снегу костёр разведут, зажарят, да не до конца, внутри она у них сырая — прямо сырую, с потрохами, неошипанную едят...

Отец мой — ему пятьдесят четыре года было, но он мужик был ещё здоровый — одного немца ещё раньше задушил, так он у нас потом в погребке и лежал... А отец сам сесть начал, прямо у меня на глазах седел: сначала — борода, потом виски, так весь белый и стал... «У меня, — говорил, — ничего нет, так я их руками буду душить».

У меня тогда дочка была, маленькая, три месяца ей было, я её на руках держала, прямо в неё пуля попала, а я из-за неё жива осталась...

Отец говорил: «Ну, теперь уж живы останемся...»

Ох, эта война... Три брата у меня поубивало... Никогда я этого не забуду, пока жива буду, никогда...

А потом писатели наши приехали, они мне — как родные...

Каких-то тридцать минут она рассказывала. Но вряд ли я услышу в своей жизни ещё раз что-то подобное... Иногда у неё появлялись слёзы, она рассказывала, а мы её даже не спрашивали ни о чём совсем, молча стояли и слушали. Наверно, она говорила это нам первым здесь. Мимо нас время от времени проходили писатели, несколько удивлённо поглядывая на нашу беседу. Наконец, она почти внезапно оборвала свой рассказ и со слезами в глазах отошла к окну и стала в него молча смотреть...

В Доме, как всегда, была тишина. И мы с отцом не могли сказать ни слова.

Николай Булгаков, 1967 г.

Содержание

Протоиерей Николай Булгаков. О воспоминаниях отца 5

Своими глазами

1. Волово-Ливенское 20
2. Родители 39
3. Раннее 57
4. Ветеринарный участок 68
5. Губаново 81
6. Золотые руки 90
7. Окрестные помещики 105
8. Революция 117
9. Советская власть 134
10. Родной чернозём 151
11. Разруха 164
12. Красные и белые 178
13. Мирная жизнь 189
14. Книжный шкаф 209
15. Гимназия на дому 224

Приложение. Н. Булгаков. «Ох, эта война...» 235

А. А. Булгаков
СВОИМИ ГЛАЗАМИ
Воспоминания

Редакторы
Протоиерей Николай Булгаков
Юлия Андреевна Елисеева

Обложка
Любови Михайловны Ордынской
Верстка и макет
Екатерины Николаевны Белогорцевой
Вероники Анатольевны Ермак
Корректор
Ольга Николаевна Гарина-Покровская

Подписано в печать 21.07.2021. Формат 84x108¹/₃₂.
Печать офсетная. Бумага офсетная. Тираж 1 500 экз.
Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленного оригинал-макета